

*Светлой памяти моего отца  
Анатолия Алексеевича и сына Глеба...*

Карнюшин В. А.

*Чтобы услышать голос Прошлого*

*«Смоленские страницы»  
прозы Бориса Васильева*

*Издание 2-е,  
исправленное и дополненное*

*Карнюшин В. А. Чтобы услышать голос Прошлого: «Смоленские страницы» прозы Бориса Васильева. Монография // Вст. ст. проф. М. Е. Стеклова. - Смоленск: «Универсум», 2003. - 180 с. Издание 2-е, исправленное и дополненное.*

В монографии анализируются произведения классика современной прозы Б. Л. Васильева, так или иначе связанные с его малой родиной – Смоленщиной, ее давней и недавней историей, настоящим и будущим.

Второе издание выходит в значительно расширенном виде, включая произведения писателя 90-х годов, материалы по фольклору Ельнинского района Смоленской области, и представляет своего рода путеводитель в мир прозы Бориса Львовича Васильева.

*Автор выражает благодарность  
генеральному директору  
ООО «Еврострой МГС» Макавею Вадиму Сергеевичу  
и лично Гориной Светлане Евгеньевне  
за финансовую и моральную помощь в издании этой книги.*

*В книге использованы фотоматериалы из изданий: Мадестов Ф. Э. Смоленский этнографический альбом: Вып. 1: Зарисовки из городской жизни 1870-1916 гг. Смоленск, 2000; Степченков Л. Л. Смоленск на рубеже веков (XIX –XX): каталог выставки. Смоленск, 1998; Смоленск – взгляд через столетия. Смоленск, 1998; а также личного архива писателя Б. Л. Васильева и личного архива автора.*

## **«Люби Россию в непогоду»**

*В. А. Карнюшин посвятил свое исследование замечательному русскому писателю Борису Львовичу Васильеву. И назвал он его символически: «Чтобы услышать голос Прошлого: «Смоленские страницы» прозы Бориса Васильева», Автор монографии сумел убедительно рассказать об истоках творчества художника, обозначить ведущие идеи его взглядов на историю России, тесно связанные с малой родиной – со Смоленщиной.*

*В. А. Карнюшин не случайно выбрал тему своего исследования. Она является центральной для всего творчества Бориса Васильева. Сам писатель объясняет свой обостренный интерес к истории Отечества так: «Мы долгое время были отучены от собственной истории. Она хранилась за семью печатями в угрюмых сейфах спецхранов. Пожалуй, подобной борьбы с историей собственного народа не знает ни одна нация; в ней старательно и долго убивали историческое чутье; мы приучены к истории сочиненной, к стереотипам беззастенчивой лжи...»<sup>1</sup>.*

*Писатель, начиная с середины 80-х годов XX века, как бы поставил перед собой задачу: преодолеть эти стереотипы и поведать людям правду, которая послужит возрождению духовных ценностей не отдельного класса или сословия, а всего народа. Б. Л. Васильев напрямую связывает знание великой истории России с его нравственностью: «Нам надо ясно осознать, каким золотым запасом нравственности мы обладали. Я просто напомню читателю, что честь и благородство не являлись прерогативой дворянства, а были достоянием всенародной нравственности»<sup>2</sup>.*

*Действительно, история помогает услышать голос Прошлого. В. А. Карнюшин основательно расшифровывает этот тезис на примерах анализа различных романов и повестей русского писателя. «Смоленские страницы» прозы Бориса Васильева охватывают огромный временной срез, начиная с романа «Вещий Олег» (IX – X вв), где лишь связан со Смоленщиной, и кончая многотомной сагой о семье Олексиных, раскрывающей характер драматических событий России в XIX – XX веках. При этом исследователь*

---

<sup>1</sup> Васильев Б. Л. Люби Россию в непогоду. Смоленск, 1994. С. 6.

<sup>2</sup> Там же. С. 7.

*очень точно и убедительно подчеркивает индивидуальность художественного мышления писателя, который не стремится к языковой стилизации «под старину», а всю мощь своего таланта направляет на раскрытие психологии героев, их политической ориентации и социальной направленности.*

*В. А. Карнюшин, размышляя о далеких исторических событиях на Смоленской земле, описанных глубоко и подробно Б. Л. Васильевым, находит в них актуальные мотивы для лучшего понимания современности. Это и единение русских политиков, и бытовой интернационализм, и подвижнический образ жизни лучших людей России.*

*Автор исследования, анализируя роман «И был вечер, и было утро» (1986), посвященный жизни смолян XIX века, обстоятельно раскрывает последствия вражды между людьми разных национальностей. В результате «не осталось Мастеров. Мастеров с большой буквы.., началась эпоха подмастерьев, которая затем развилась в эпоху шабашников, то есть людей, скверно делающих все, что придется, чтобы только зашибить деньгу...».*

*Автор монографии рассматривает обозначенный им вопрос в исторической перспективе. Вот почему он так основательно исследует автобиографическую повесть писателя «Летят мои кони», проблематику которой связывает с другими произведениями, такими как: «Были и небыли», «Дом, который построил Дед», чтобы восстановить порванную связь времен.*

*Все, кто читали эту повесть, не могут вспоминать ее без душевного волнения и трепета. Смоленск здесь предстает как Город Добра, как город-плот, «на котором искали спасения тысячи терпящих бедствие». В Смоленске находили себе убежище и русские, и татары, и поляки, и евреи. В. А. Карнюшин приводит яркие цитаты из этой повести, дающие объемное представление и о Городе Добра, и о Городе Страха, о близких и далеких людях, оказавших определяющее влияние на становление личности писателя Б. Л. Васильева.*

*Быть может, не случайно писатель, пройдя трудными дорогами жизни: и войну, и службу в армии, и кинематографическое, и писательское сообщество, остался порядочным и мудрым человеком, любящим Россию и в светлые дни, и в непогоду.*

*Исследуя смоленские корни Бориса Львовича, его книги, в которых история Смоленска занимает важное место, В. А. Карнюшин избежал провинциального подхода в размышлениях о судьбах героев прошлого,*

*обнаружил широту взглядов на личность писателя и его творчество. Вызывает одобрение представленные в исследовании различные точки зрения на повести, романы, публицистику Б. Л. Васильева. И хорошо, что автор монографии не оставляет без ответа субъективные высказывания о творчестве писателя, а предлагает свою трактовку того или иного вопроса, породившего дискуссию.*

*Уверен, что это вызовет определенный интерес у читателей и заставит их включиться в спор.*

*Знакомство с книгами Бориса Львовича Васильева и исследованием В. А. Карньюшина позволяет сделать вывод, что они оптимистически смотрят в будущее. «Россия все же привержена Добру», - убежден писатель. Я разделяю эту точку зрения.*

*В повести «Летят мои кони» Борис Львович писал о себе следующее: «Я родился на перекрестке двух эпох, и в этом мне повезло. Еще судорожно и тихо отходила в вечность Русь вчерашняя, а у ее одра неумело, а потому и чересчур громко уже хозяйничала Русь дня завтрашнего. Старые корни рубились со звонким восторгом, новые прорастали медленно. Россия уже отбыла со станции «Вчера», еще не достигла станции «Завтра» и, судорожно гремящая разболтанными вагонами, испуганно вздрагивая на стыке дней своих, мчалась на пронизанной вспышками выстрелов ночи гражданской войны и в алый рассвет завтрашнего дня. «Наш паровоз летит вперед»...».*

*Слова эти написаны в начале 80-х годов прошлого века. Борис Васильев верил и верит, что поезд, несмотря ни на что, доедет и довезет нас до лучшей жизни. Поэтому – и призывает всех нас «любить Россию в непогоду».*

*М. Е. Стеклов,  
профессор Смоленского педагогического университета,  
заслуженный работник культуры РФ.*

## **Оглавление**

Предисловие

Часть 1. Читая летописи Древней Руси

*(Смоленск IX века в романе «Вещий Олег»)*

Часть 2. Генетический код памяти

*(Смоленск XIX века в романе «И был вечер, и было утро»)*

Часть 3. Город Добра и город Страха

*(Смоленск 20-30-х годов XX века в повестях «Летят мои кони» и «Капля за каплей»)*

Часть 4. «Коэффициент человеческого достоинства»: Династия офицеров-дворян в саге о семье Олексиных

*(романы «Картежник и бретер, игрок и дуэлянт», «Были и небыли», «Дом, который построил Дед»)*

Часть 5. «История – это биография народа»

*(мотив покаяния в романах «Утоли моя печали» и «Вам привет от бабы Леры»)*

Послесловие

*(Б. Л. Васильев о времени и о себе: «Мне стыдно»)*

Приложение

*(на малой родине писателя: «Духовные песни» села Уварово»)*

Литература

## ***ПРЕДИСЛОВИЕ***

Борис Львович Васильев - русский писатель, кинодраматург, публицист, общественный деятель. Родился 24 мая 1924 года в семье кадрового офицера из потомственных смоленских дворян-разночинцев Васильевых. Мать – представительница другого рода, псковских дворян Алексеевых. Детство писатель провел на Покровке, затем на улице Декабристов (ныне Тухачевского); перед началом Великой Отечественной войны семья переехала в Воронеж. После войны остатки семьи переезжают в Москву. Сегодня от огромной семьи осталось два человека: писатель Борис Львович Васильев и его сестра Галина Львовна. Родственники по материнской линии, дети и внуки ее двоюродной сестры Варвары сегодня живут в Смоленске...

Б. Л. Васильев удостоен различными наградами и премиями СССР и России, в том числе Государственной премией СССР за сценарий к кинофильму «А зори здесь тихие», премией им. Ленинского комсомола за повесть «А зори здесь тихие», независимой премией движения «Апрель» им. ак. А. Д. Сахарова с формулировкой «за гражданское мужество», независимой русско-итальянской читательской премией «Пенне-Москва», государственной премией Президента РФ в области литературы за 1999 год, премией Союза кинематографистов им. братьев Васильевых за сценарий к кинофильму «Офицеры», орденами «Дружбы народов» и «За заслуги перед Отечеством»; в апреле 2003 года – высшей премией Академии кинематографистов России, премией «Ника» в номинации «За честь и достоинство». В октябре

2002 года Указом Президента РФ В. В. Путина писатель введен в состав комиссии по правам человека. Но самой дорогой для него наградой были и есть его читатели, которые остаются с ним навсегда, несмотря ни на что. А это «дорогого стоит»...

Всегда есть люди, честно несущие всю ответственность сурового и нелегкого «бремени выбора». Однако в своей работе мы вовсе не стремились показать писателя Бориса Васильева неким Мессией, тем более что он и сам себя таковым не считает<sup>1</sup>.

Б. Л. Васильев всегда пишет для того, «чтобы помнили». По этому принципу и живет, никогда не работает «для момента» или в угоду власти. Писатель честен и предельно открыт, говоря лишь о том, что действительно волнует его.

Он верен своей писательской манере, своему стилю и мировоззрению. И об этом лучше всего говорят заголовки его публицистических статей: «Помочь человеку жить», «Ценю - добросовестных людей», «Важен герой нравственный», «Цените мгновения», «И подвиг в душе возрастить», «Любить Россию в непогоду», «Я – неисправимый оптимист», «Мне не в чем себя упрекнуть». Писатель, как и его герои, добр, честен и интеллигентен.

«Смоленские страницы» прозы Бориса Васильева разнообразны как по своей тематике, жанровому составу, так и по насущным проблемам.

---

<sup>1</sup> Тихие зори Бориса Васильева // Витрина читающей России, 1996, № 10.



Так, история Древней Руси и древних смолян представлена романом «Вещий Олег». Смоленск IX- X веков здесь центральная сюжетная перипетия.

Проблемам духовного существования многонационального Смоленска (Прославля) рубежа XIX - XX веков посвящен роман «И был вечер, и было утро». Он отсылает читателя к причинам первой русской революции 1905 года, которая началась здесь с очередного «еврейского погрома» в Садках. И хотя город назван Прославлем, смоленский читатель легко узнает в нем облик старого Смоленска: спуск с Большой Дворянской, крепостное кладбище в центре, залы Благородного Дворянского собрания, заднепровская (Успенская) церковь Варвары-великомученицы с находившимся рядом костелом, синагогой и мечетью, немецкая кирха на улице Кирочной, базарная площадь Пристенья, еврейская слобода в Садках с тремя нижними и одной верхней улицами, чугунный памятник героям Отечественной войны 1812 года на Офицерском плацу, тихая Садовая улица, пролом на Большой Благовещенской, Чертова пустошь за крепостью, Градская больница, церковь Иоакима и Анны, улочки Кирочная, Кадетская, Мещанская, Офицерская, Ильинская, Пушкинская, Поганый ручей на Рачевке. Эти улицы будут присутствовать и в знаменитой саге об Олексиных, герои которой частенько станут заглядывать в «Аптекарские товары» Рабиновича, на мебельную фабрику братьев Панкратовых на Рачевке, посещать танцевальные классы госпожи Цибульник, синематограф Б. Г. Вольфа «Французское чудо».

История не терпит суесловья... Успенский дурачок Филя Кубырь часто «варил ушицу» на глухом берегу за великими курганами, а в Дворянском собрании рассматривался проект о строительстве Триумфальной арки в связи с трехсотлетием

правлящей династии. Но «мечта» губернатора так и осталась мечтой. В истории все повторяется. Не правда ли?

Художественная литература – не документ и не летопись. Однако автор напомнит, быть может, усомнившимся об известной холере 1882 года и о гербе города Прославля, на котором красовалась птица Феникс, а один из героев, социалист Белобрыков, влюбится в Ольгу Федоровну Олексину (двоюродную бабушку писателя по материнской линии), которая действительно поссорилась с отцом, генерал-адъютантом Александра II, Федором Ивановичем Алексеевым, проживавшим в Москве, и уехала к тетке в свой родовой дом на улицу Кадетскую (ныне маршала Жукова). Одним словом, много истории реальной и вымышленной пройдет перед читателем.

«Смоленскими страницами» романной прозы почетный гражданин «города-плота», города-героя Смоленска Б. Л. Васильев обозначил и проследил основные этапы духовно-нравственных исканий русской интеллигенции на протяжении более 100 лет, вплоть до конца XX столетия. Он внес вклад в обоснованность такого понятия, как «загадочность русской души»; обогатил и, без сомнения, обновил жанр эпопеи, дополнил его новыми формами, сюжетными коллизиями, обосновав тем самым живучесть семейной саги. И то, что он избрал для этого одну из ветвей собственного фамильного генеалогического древа и смог оставить для потомков историю России в истории дворян Олексиных (Алексеевых), думается, потомками не забудется и оценится.

В своей саге (большой по объему – 6 книг) Борис Львович не делает выводов и не навязывает собственной точки зрения. Он лишь помогает читателю *услышать голос прошлого*, дабы понять, что «история – это не просто биография твоего народа», но и

составляющая единица мироздания, что история и память неделимы.

Писатель – «неисправимый оптимист», он верит в жизнь, верит в добро и справедливость, верит в человека. И частые трагические исходы его произведений говорят вовсе не о том, что это так должно и быть, что Зло непобедимо...

*Вдали от асфальтовой и от бетонной,  
От насмерть заезженных прочих дорог  
Лесною, неровной, под высью бездонной  
Необщей тропою шагает пророк.*

*В стране, где извечен диктат  
документа,  
Где вздох один – от эйфории до бед,  
Пророческой миссии интеллигента  
Беспаспортней, горше, опаснее нет.*

*Он, может, и рад бы, как все,  
- по теченью,  
За сутками сутки, за месяцем год,  
Без муки – словам возвращать  
их значенье,  
Без боли – все сущее знать наперед.*

*Без страсти – тянуть паутину событий,  
Чтоб прошлое нынешней плотью облечь,  
Без этих – морозящих душу*

- *открытий:*

*Кого и когда ими предостеречь?*

*Он платит за все – и в безмолвии*

*строгом*

*Берет эту плату больная страна.*

*А сердце все глубже изранено Богом –*

*Чем ярче прозренья, тем выше цена.*

*О как дорожу я нечастою встречей,*

*Когда, рядом с ним направляясь к жилью, -*

*Великая дерзость! – к нему на предплечье*

*Неслышно ладонь опускаю свою,*

*Когда свою боль в его речи я слышу,*

*Когда, расставаясь, молюсь за него...*

*И кажется, небо становится выше,*

*И слух обостренней,*

*и чище родство.*

*Татьяна Кузовлева*

## ***Часть 1. Читая летописи Древней Руси***

*(Смоленск IX - X веков в романе "Вещий Олег")*

Былины, говоры, легенды, летописи... Вот, пожалуй, и все, чем располагают современные исследователи эпохи Древней Руси. Но летописные своды, дошедшие до нас, не дают всей художественно-эстетической картины жизни славян. Отсюда понятен интерес писателей, стремящихся "оживить" героев былых времен, придумать им характеры, наделить поступками, восстановить быт ушедшей эпохи.

Неподдельный интерес к истории средневековой Руси проявлялся всегда. "Вадим Новгородский" Я. Б. Княжнина, серия исторических повестей Н. М. Карамзина "Марфа-посадница", "Наталья, боярская дочь"; постоянный интерес к сюжетам Древней Руси был и у поэтов 19 века: А. С. Пушкина, К. Ф. Рылеева, А. А. Бестужева-Марлинского, М. Ю. Лермонтова, А. К. Толстого; интерес к агиографической литературе был присущ филологу и историку литературы Г. П. Федорову (особой популярностью пользовалась его книга "Святые древней Руси"). Но особенно популярной стала эта тема в XX веке. Не останавливаясь на крупнейших литературоведческих исследованиях Д. С. Лихачева, В. В. Кускова, Н. К. Гудзия, В. А. Грихина, А. М. Панченко, И. В. Еремина, Л. Н. Гумилева, В. В. Ильина, перечислим лишь самые известные художественно-исторические произведения. Это "Чингизхан", "Батый", "К последнему морю", "Юность полководца" Василия

Яна, "Дмитрий Донской" Сергея Бородина, "Дмитрий Донской", «Господин Великий Новгород», "Марфа-посадница", «Младший сын», "Великий стол", "Бремя власти" Дмитрия Балашова, "Симеон Гордый" и "Жестокий век" Исаия Калашникова. Сегодня выходит достаточное количество хроникально-документальных романов о жизни великих князей периода Древней Руси (достаточно назвать серию популярных книг "Российские судьбы", состоящую из 30-ти произведений (М.: "Новатор"; издатель К. В. Кренов). Три исторических романа Бориса Львовича Васильева: "Князь Ярослав и его сыновья", "Вещий Олег" и "Ольга, королева русов" - также займут достойное место в этом списке художественных исследований истории Отечества.

Исходя из заявленной темы нашего исследования — "смоленские страницы" – в этой главе нас будет интересовать роман "Вещий Олег".

В художественном исследовании Руси времен Рюрика Б. Л. Васильев опирается на точку зрения известного и в недавнем прошлом долгое время игнорируемого историка Льва Николаевича Гумилева, которого академик Б. А. Рыбаков называл "сумбурным обманщиком", а литературоведы зачисляли в ряды "буржуазных антипатриотических клеветников святой советской истории".

Роман Бориса Васильева рассказывает о событиях, предшествовавших знаменитому походу Олега на Киев, положившему вскоре начало объединению Руси.

О IX веке вообще мало что известно, а в "Повести временных лет" встречаются лишь отдельные замечания. Поэтому писатель взялся за трудную задачу: изобразить то, что могло бы быть на самом деле, а чего могло бы и не быть.

Итак, что же известно из летописей об этом периоде?

Первым князем северных славянских племен был Рюрик, которого пригласили "на княжение" ильменские славяне "из-за моря". Известна также и дата - 862 год, год «признания» норманнского князя Рюрика ("конунга"). Известно также, что Рюрик был варяг из этноса русов, который принял предложение Гостомысла <sup>1</sup>.

К тому времени истощенные бесконечными междоусобицами русы сами решили позвать к себе профессиональных воинов, нанимавшихся на службу в воюющие государства. Этому тоже есть подтверждение в летописи. Нестор пишет так: "Реша Руси чудь и славяне (Новгород) и кривичи все: земля велика и обильна, а народа в ней нет, да пойдете княжить и володеть нами".

Несколько слов о варягах. Их происхождение — вопрос спорный и по сей день. Мнения историков расходятся: одни считают, что варяги — славяне, другие, что варяги — изгнанные из отечества как славяне, так и скандинавы. Борис Васильев придерживается скорее точки зрения Льва Гумилева, считавшего, что и русы — "этнос отнюдь не славянский". При этом исследователь цитирует известного историка X века Лиутиранда Кременского, писавшего, что "греки зовут тот народ, который мы зовем — по месту жительства", и помещает этот народ на юг Руси, рядом с печенегами и хазарами <sup>2</sup>. Видимо, отсюда разная точка зрения на происхождение славян и русов (так в первых русских законах, например, можно без труда увидеть сходство со скандинавскими законами — такова "Русская правда Ярослава»).

<sup>1</sup> Гумилев Л. Н. Древняя Русь. М., 1994. С. 116.

<sup>2</sup> Указ. соч. С. 16.

Рюрик прибыл к русам со своими братьями Синеусом и Трувором. Новгород вскоре объединил северные славянские племена, и к середине X века существовало уже два самостоятельных, независимых друг от друга региона восточных славян.

Позже, в 864-869 годах, Киеву были подчинены Полоцк и Смоленск. А нанятые Рюриком варяги во главе с воеводой, преемником Рюрика (по другим источникам, первым киевским князем, хотя нельзя забывать и о Кие) Олегом, захватили Киев для сына Рюрика Игоря, названного в летописи "Игорем Старым". И пока Игорь был в младенческом возрасте, Киевом правил Олег, прозванный в народе "вещим".

Теперь историческая справка о самом Олеге, фигуре колоритной и крайне интересной.

Существует две версии его происхождения: он — скандинав, и он — представитель местной, новгородской знати. Согласно летописи, княжил с 882 по 912 год и, согласно общепризнанной и по летописи (в частности, Радзивилловской) и по поэме А. С. Пушкина "Песнь о Вещем Олеге" легенде, «принял смерть от коня своего» (якобы из черепа недавно умершего коня Олега вылезла змея и смертельно ужалила князя).

Исходя из описанного в романе портрета Олега, Борис Васильев придерживается точки зрения на его неславянское происхождение. Так, в монографии М. И. Артамонова "История хазар" есть важное описание: "Бытовые навыки у славян и русов были различны, особенно в характерных мелочах: русы умывались перед обедом в общем тазу, а славяне — под струей; русы брили голову, оставляя клок волос на темени, славяне стригли волосы в



"кружок"; русы жили в военных поселениях и кормились военной добычей... Летописцы X века никогда не путали славян с русами" <sup>1</sup>.

И наконец, последняя историческая справка. Название "Русь", по версии многих историков, скорее всего южное, неславянское и восходит ко времени до IX века. В IX-ом же веке оно выступает как обозначение этнополитического образования, не совпадающее территориально ни с одним славянским союзом племенных княжеств. Впервые Русь упоминается в "Повести временных лет" с датой "859 год", а понятие "Древняя Русь" связано лишь с XV веком, когда возникла необходимость показать единство и притязания Ивана III на все наследие Рюриковичей <sup>2</sup>.

Вот, собственно, и все, что нам известно из источников — летописей. Что же касается легендарной канвы, связанной с причиной смерти от укуса змеи, то здесь необходимо разделить точку зрения филолога Т. А. Щелчковой, считающей, что Олег должен был умереть "легендарно", дабы остаться в памяти потомков "мифологически-языческим идеалом" <sup>3</sup>. Но если учесть и точку зрения писателя и историка Б. Л. Васильева, что сына Рюрика Игоря Олег часто называет "змеенышем", что самая ядовитая змея в средней России гадюка, яд которой не столько ядовитый, сколько болезненный, что князья на Руси носили высокие (выше колен) сапоги из особо прочной кожи и змея просто не могла бы их прокусить, что с возрастом Олег стал слаб, зол и насторожен, а Игорь окреп и был заинтересован в троне Киева и, наконец (общепризнанный факт), что в Древней Руси ни один князь (кроме,

<sup>1</sup> Подробнее см.: *Артамонов М. И.* История хазар. М., 1968. С. 289 – 293.

<sup>2</sup> Версия историка Л. Н. Гумилева. *Указ. соч.* С. 49.

<sup>3</sup> *Щелчкова Т. А.* Сюжет, мотивы и образы летописного сказания об Олеге // Письменность и культура Смоленщины. История и современность: Сборник статей по материалам конференции. Смоленск, 2000. С. 14 –19.

пожалуй, Ярослава Мудрого) не умирал собственной смертью, то с учетом всего вышеизложенного события в романе "Вещий Олег" становятся понятны и обоснованны.

Перед нами, безусловно, историческая беллетристика. Да и сам Борис Васильев всячески подчеркивает это. Откроем повесть "Летят мои кони": "Мы привыкли третировать литературу, так сказать, "низкого пошиба" куда с большим усердием, чем подобное ей в кино, на телевидении или в театре. Такова традиция, признак хорошего тона... Я хочу отдать должное этой, "низкого пошиба". И не только потому, что она учит уважать книгу и — выражаясь толстовским языком — "полюблять" ее, а потому, что она уникальна в истоках своих. В ней всегда торжествует добро, в ней всегда наказуем порок... Я говорю и о Лидии Алексеевне Чарской, чьи исторические повести — при всей их наивности! — не только излагали популярно родную историю, но и учили восторгаться ею... Я так подробно пишу о своем постижении истории, потому что история и литература с детства переплелись в моем сознании, и я до сего времени воспринимаю литературу как беллетризованную историю, а историю — как лишенную беллетристики литературу"<sup>1</sup>.

Вопрос об исторической прозе всегда вызывал бурные споры. Собственно "историческая проза", безусловно, относится к разновидности научной прозы, историк-исследователь не терпит сослагательного наклонения, и пресловутое "бы" не представляет в этом случае никакого интереса. Историк-исследователь разбирает мотивы и закономерности уже свершившегося факта.

Этот сложившийся постулат не требует доказательств или пересмотра. Историко-документальная литература будет и должна

---

<sup>1</sup> *Васильев Б. Л.* Собрание сочинений в 8-ми томах. Смоленск, 1994. Т.1. С. 37 – 38.

отличаться от художественно-исторической литературы. Вряд ли можно назвать полотно Н. М. Карамзина документально-исторический эпопеей; романы Дмитрия Балашова, несмотря на всю их историческую "щепетильность и речевую точность", все же художественные произведения.

Что по сути представляет собой летопись? Четкое, документальное описание того, что происходило день за днем и год за годом. А первые монахи, фиксировавшие события, были скорее хронографами-документалистами. Однако и "хронографы" были различны. В труде виднейшего римского историка Тацита "Анналы" поражает прежде всего художественная сила повествования, что неприемлемо для строгой науки истории. А свою работу "Александр и Цезарь" Плутарх и вовсе начинает словами: "Мы пишем не историю, а жизнеописания..." Вряд ли есть необходимость и далее приводить подобные примеры расхождений художественности и наукообразности.

Итак, как только в ткань исторического повествования вкрапливаются нотки личностно-субъективные (авторские ремарки), а образы и действующие лица истории начинают анализироваться с точки зрения психологического проникновения в мотивы их действий, перед нами уже беллетризованная история. И это не обязательно "плохая литература". Задача перед ней совершенно конкретная: поразмышлять, как это могло бы быть на самом деле, исходя их жизненных обстоятельств, как меняется эта жизнь из-за пресловутого "вдруг".

Вспомним высказывание Н. М. Карамзина о причинах, побудивших его взяться за написание "Марфы-посадницы": "В наших летописях мало подробностей сего великого происшествия. Но случай доставил мне в руки старинный манускрипт, который

сообщаю здесь любителям истории и — сказок, исправив только слог его, темный и невразумительный". Откроем его же предисловие к "Истории государства Российского": "Мы слышали от своих отцов и дедов о нем [Петре первом], о Екатерине, Петре 2-ом, Анне, Елизавете многое, чего нет в книгах". Прекрасный повод для беллетризации истории, не правда ли?

Любимый исторический романист Бориса Васильева писатель Г. П. Данилевский метко подчеркнул очень важное условие отличия чистой истории и художественно-исторической прозы: художественная правда не обязательно совпадает с исторической точностью, потому что писателю важны "потрясенные чувства" человека перед лицом "роковой действительности, а вовсе не четкая диспозиция войск" (известно, что многие участники Отечественной войны 1812 года вначале "не приняли" роман Л. Н. Толстого "Война и мир" как раз по этой причине).

И последнее. Жанр исторического романа очень гибкий и вместительный по форме. Это всегда, по сути, сложное переплетение и исторических, и современных писателю мотивов. Именно это мы и наблюдаем практически во всех исторических произведениях писателя Бориса Васильева. Этим отличается роман "Картежник и бретер, игрок и дуэлянт" в той его части, где идут авторские ремарки о кавказской кампании начала XIX века. Приведем отрывок, в котором современный читатель не может не увидеть сегодняшние военные события в Чечне: "Не согласилась душа с рукою, как не согласна она была эту кампанию войною назвать. Особенно после Отечественной. Нет, нет, карательной та кампания оказалась, я в этом собственными глазами убедился. Жестоко карательной с нашей стороны, а для горцев... Для горцев она была Отечественной, давайте честно в этом себе признаемся.

Великой Отечественной войной Кавказа против Российской империи. Горько, но — правда. Отсюда и немыслимая их отвага, и небывалая гордость, и презрение к нам со всеми нашими пушками, лихими казаками и пехотной обреченностью. Доказательства? Сколько угодно, господа, сколько угодно... К примеру, генерал Вельяминов продал ногайцам в рабство две тысячи женщин и детей по цене от 150 до 250 рублей за голову... Тогда же было введено денежное поощрение: червонец за каждого убитого горца при предъявлении... хотя бы правого уха... И через это тоже надо было пройти, не уронив чести и собственного достоинства и не опоганив души своей. Невольно сопоставляется, что "во глубине сибирских руд" было куда легче сохранить и собственную честь, и собственное достоинство. О, Россия, Россия, как же наловчилась ты уничтожать собственных воинов своих..."<sup>1</sup>.

\*\*\*

IX век. Суровое, хмурое, запутанное и кровавое время. Еще нет никакой государственности, нет единого князя, нет и сильных княжеств. Есть время смут, интриг, заговоров, переворотов и междоусобных распрей. IX век - век конунгов, а не князей. Конунг же - воин, а не правитель. "Мы с древнейших времен просим уберечь нас, наших близких и саму Землю нашу от мора, глада и пожара. А война в это заклинание не попала. Только ли потому, что огонь, болезни и голод представлялись стихиями, а война —

---

<sup>1</sup> *Васильев Б. Л.* Картежник и бретер, игрок и дуэлянт. М., 1998. С. 260-261.

деянием человеческим, рукотворными? А может быть, потому, что предкам нашим приходилось хвататься за мечи куда как чаще, чем за чапыги, а топор не только строил, но и разрушал? Впрочем, так жили тогда все оседлые народы, нет в этом никакой особой избранности, и на древнем языке моих пращуров война именовалась ТРУДОМ... Но мечи — орудие обоюдоострое, а выход за пределы необходимой обороны чреват расплатой" <sup>1</sup>, - так в очерке "Последний варяг" начинает Б. Васильев свой разговор об истории Древней Руси, истории становления российской государственности.

Заглядывая в далекую историю наших предков, Б. Л. Васильев размышляет о национальном достоинстве, которое определяется не количеством веков, а чем-то большим: "Человечество единовозрастно. Нет более древних и менее древних народов, но нации — живые социальные организмы, им свойственна молодость и старость, рождение и гибель, и великорусской нации приблизительно полтысячи лет, а то и все шестьсот, если брать за основу осознание ею своей общности на поле Куликовом»<sup>2</sup>.

Ставя во главу угла проблему осознания великоросами "своей общности", писатель на страницах романа пытается пригласить своего читателя в начало этого "осознания", в эпоху, полную языческих легенд и сказаний.

Интрига сюжета такова.

Таинственный конунг русов Олег верен слову, данному когда-то Рюрику: "Твой сын будет править в Киеве, в городе, который станет матерью городов русских". Однако почему Киев?

---

<sup>1</sup> *Васильев Б. Л.* Указ. соч. Т. 5. С. 505 - 506.

<sup>2</sup> *Там же.* С. 516.

Киев был "лакомым кусочком", путем к южным землям, но главное — желанная мечта всей Рюриковой жизни — беспредельная власть. И чтобы добиться ее, он, не задумываясь, шагает по трупам, плетет многочисленные интриги, травит и убивает всех, держит самую страшную пытницу во главе с кровавым и мстительным палачом Клестом. Рюрик жаждет власти и величия себе даже тогда, когда уже стар и немощен.

Но есть и еще одна причина править в Киеве: "С глубокой печалью Новгород отмечает, что многое стало меняться. Аскольд захватил Киев, перерезал Днепр и забирает себе десятую часть товаров за пропуск царьградских гостей. Многие ромеи предпочли торговать с Киевом, Смоленск требует увеличить его долю за починку наших лодей, доходы Господина Великого Новгорода падают и будут падать" (15)<sup>1</sup>. Словом, нужны новые пополнения казны.

Итак, истинная, *политическая*, причина похода Олега на Киев более чем благородна: "Вся Старая руса зажата со всех сторон, бедна и болотиста, и у нее нет торговых путей, а Киевская земля богата и обширна". В отличие от Рюрика Олег печется (конечно же, не без желания славы) о своем народе. Он мудр и рассудителен не по годам.

Рюрик понимает, что если не ему, то хотя бы его сыну достанется слава и благополучие. Хочет благополучия своей воспитаннице Неждане и Олег. Но именно с ее именем будет связана вся дальнейшая интрига роман.

Сосед кривичей, конунг рогов Рогхард, стоявший в Полоцке и бывший в союзе с Аскольдом, решает узнать истину: где Олег

---

<sup>1</sup> Здесь и далее ссылка на издание: *Васильев Б. Л. Вещий Олег*. С.-Пб., 1997.

прячет сына Рюрика и почему так упорно скрывает Неждану. С этой целью он приказывает своему воеводе Орогосту послать в стан Олега шпиона, рабыню Инегельду, которая "хитра, ласкова и беспощадна". Она становится "смоленским подарком" князя Воислава конунгу Олегу.

Смоленский князь Воислав переживает тяжелые дни: "Предложение примкнуть к объединенным конунгом русов силам мало устраивало кривичей. Держа в своих руках ключевой волок на Днепре, имея выходы к Западной Двине, Смоленское княжество получало устойчивые доходы, не прибегая к мечу. Мало того, кривичи смогли потеснить мерю на восток, заполучив в притоках Оки маленький, но важный городишко Москву, открывавший третий торговый путь к Волге, а по ней — в богатую Хазарию, через которую шли караваны со сказочного Востока... Но затеянный неугомонными русами поход на Киев грозил сорвать все надежды"(60).

Воислав прекрасно понимает, что в отличие от Новгорода, «кривичам была уготована судьба ближайшего тыла. На их землях должны были сосредоточиться тысячи воинов, которых надо было не только кормить, но и сдерживать: *вои* [*воины* – курсив мой. В. К.] оставались воями, тем более что с Олегом шли не только варяги и новгородские добровольцы... И вся эта разноплеменная масса обрушилась бы на города и деревни кривичей». Конечно, ему обещали покрыть все расходы, но путь из варяг в греки «на два лета выпадал из оборота». «Смоленску угрожал разрыв всех торговых связей, а нашествие войска обещало крупные неприятности». Все это не давало покоя Воиславу до того момента, пока ему не сообщили, что тайный посланник Рогхарда хочет его видеть: «роги тоже искали тропы для сохранения торговли и мира».



У смоленского князя были две ярко выраженные слабости: алчность и страсть к женщинам. Роги хорошо знали об этом, потому и послали в подарок богато украшенный ларец со словами: «Это ключ от Двинского пути. Если мы протянем нити к сердцам друг друга, он останется у тебя. Если нет – он запрет Двину для кривичей» (156 – 157).

Но что же делать Воиславу? Если он откажет Олегу, то Олег самовольно займет его земли, вышвырнув хозяина из Смоленска. Однако хитрый посол рогов как бы «читает» мысли князя: пройдет Олег через его земли – ничего страшного; главное - быть верным клятве Рогхарду. А цена клятве – «рабыня» Инегельда для Олега. И Воислав, жадный до подарков, решает «играть на две руки».

Олег, воспитанный на понятии, что обладание женщиной несравнимо ниже обладания властью, не задумываясь, передает ее на попечение своей наложнице Альвене, которая вскоре перепоручает ее Неждане, что, собственно, и требовалось.

Еще одна романтическая и колоритная фигура – незаконорожденный сын смоленского князя Урмень, атаман «вольной ватаги», охраняющей Волский волок Днепра. Именно под его защитой временно находится малолетний наследник Рюрика.

«Князь искренне любил своего сына,.. не прятал на задворках княжеского терема... А через год у князя родился законный наследник, и могущественная южная партия княжеской думы начала осторожно, но постоянно намекать Воиславу, что спокойствие кривичей зависит от законности династии. Князь пока отбивался, но шепотливые советы начали разъедать душу...

- Вон из моего города, - сказал князь первенцу. – Глаза мои не желают более видеть тебя.

Швырнул ему кошель с золотом и ушел. Урмень подобрал кошель без всякого смущения: нужно было вооружение для отроков, кони, одежда. И навсегда ушел из Смоленска» (150 –151). А позже Урменю были поручены поиски отравившей наследника рузов Берсира, приехавшего свататься к Неждане, и вскоре бежавшей «дерзкой рабыни» Инегельды...

Так перед нами разворачивается интрига за интригой, запутанная история Руси IX века, повествующая то о жизни Олега, то о его боярах, то живописно изображающая какой-нибудь древний языческий обряд, то красочно и нежно преподносящая любовную историю. Но чем ближе к финалу, тем еще больше событий, перипетий, хитросплетений, еще больше сменяется персонажей и еще больше проливается крови.

Как историк писатель объективно отобразил всю остроту социально-политических коллизий, а как писатель - убедительно воссоздал характеры, показал нетленный дух предков, сумевших в крайне трудных условиях сохранить и упрочить национальное самосознание, обычаи, культуру. Историческая осведомленность Васильева помогает красочному и плавному развитию сюжета. Реальные факты истории в их яркой эмоционально-художественной интерпретации составляют стержень исторического повествования.

Стиль Б. Л. Васильева в чем-то схож с пикулевским: выстраивает острый, захватывающий, интригующий сюжет, нарочито усложняет и без того «закрученное» историческое действие, живописуя его сочными красками. У писателя прослеживается отчасти детективно-приключенческая линия, отчасти балашовская строгая летописная канва, которая развивается медленно, величаво, эпически.

Но вернемся к «смоленским страницам» романа.

Таинственный советник Олега Хальвард, назначенный расследовать обстоятельства появления Инегельды в стане русов, оказывается «жаждущим власти и славы». Он намеренно пытается поссорить Олега и с рузами, и с хазарами, и с кривичами. И если две первые ссоры ему не удались, то теперь в Смоленске он пытается взять реванш.

Разгадав тайну «смоленского подарка» Олегу (ведь именно Воислав прислал Инегельду), Хальвард не просто решает убрать смоленского князя, но фактически совершает в Смоленске переворот: «Охрана была разоружена, челядь разогнана..., одновременно русы начали захват всех смоленских бояр... Само население Смоленска не сопротивлялось, поскольку не успело осознать, что происходит, и к вечеру все затихло. Переворот был завершен...». И если бы не вовремя приехавший боярин Олега Годхард, неизвестно, чем бы все закончилось, да и Хальвард вскоре оговорился: «Моя сила – шепот... Шепот сотворит разногласицу, и вожди перестанут понимать друг друга, потому что появится недоверие и подозрение... А Олегу некому передать власть».

Но как бы ни тешил себя Хальвард тщеславием, а вынужден был наутро отпустить всех. Причиной был не боярин Олега, а «смоленская тьма»: «Смоленская тьма стреляет, высокий боярин. Мой меч бессилен против тьмы». У всех еще были слишком свежи воспоминания о новгородском бунте Вадима Храброго. А народ мстит за свою поруганную честь и попорченную память.

Духовная память, как известно, зиждется не на полужнании и обрывочных сведениях, а на обширном генетическом коде собственной истории, на уважительном отношении к предкам, Родине, народу. Память – неистребимый, питающий корень жизни,

благодаря ему, народ сохранил себя как нация в труднейших исторических ситуациях.

В романе Васильева нет языковой пышности «под старину», как в романах Д. Балашова, или чрезмерной архаизации, как в «Памяти» В. Чивилихина, костюмной или иной интерьерной зрелищности. Все в меру. Внимание читателя, ведомого автором, приковывается к психологии героев, к их политическим и социальным пристрастиям. Поэтому с особым интересом читаются строки «Заключения». Мысли в последней главе более чем современны, а идея чрезвычайно актуальна:

«Неуемная деятельность быстро овдовевшего Олега... в конце концов привела к нарушению клятвы... Вскоре он «примучил» (так сказано в Летописи) древлян, завершил начатый еще Хальвардом переворот в Смоленске, заточил князя Воислава, заставил северян и радимичей платить дань ему, а не хазарам, отчего им, естественно, легче не стало» (395). Благородная идея, как это часто бывает, не смогла справиться с политикой и человеческим тщеславием. Другой разговор, что тема единения все равно будет главной во все времена, ибо актуальной окажется для каждого поколения российских политиков.

Эта идея была актуальной и в 1995 и в 1996-ом году во время написания романа Борисом Львовичем. Слова и мысли о единении стали ключевыми, усиливая созвучие с современностью. В 13 главе мы попадаем на совет князей, где от имени Олега выступает его воевода Ставко:

« – Но объясни мне, не самому умному из славянских владык, Смоленскому князю, ради чего и во имя чего славяне должны поддерживать грабителей русов?..

- Я больше думаю о славянах, чем о русах, князь. Мы широко расселены по свету, но каждый живет в своей берлоге. Мы говорим на одном языке и молимся одним богам и все время воюем друг с другом...
- Но у нас общий корень, воевода.
- Да, корень общий, только плоды у каждого свои... А если мы объединимся в общий народ, сложим свои припасы, разделим свои труды, станем приучать сильных отроков к мечу и боевому коню, мы выпестуем могучую дружину и избавимся, наконец, от хазарской дани... Я понял, чего нам не хватает для того, чтобы стать могучим государством: ЕДИНЕНИЯ... Русы – могучая река, а мы – огромное море: ты слышал когда-нибудь, чтобы река поглотила море? В конце концов, река растворится в нем, оставив нам в наследство могучую и сильную державу» (336 – 337).

Роман Бориса Васильева расширяет наши скудные и в основном летописные познания об истории Древней Руси, о нравах и обычаях многочисленных и разрозненных славянских племен. Иногда писатель пытается даже поэтизировать во многом рутинные и кровавые будни наших пращуров. А изящно обрисованные мельчайшие детали быта расширяют наш кругозор.

«Вещий Олег» – случай насладиться лихо закрученной интригой и живописными картинами жизни и быта древних славян. Эти картины дают возможность осознать и увидеть не дикость (как это порой трактуется в западной «норманнской теории»), а цивилизованность и хорошую внутреннюю организованность славянских племен. Роман, безусловно, вносит свой вклад в

художественное воплощение жизни славян, обогащает наши представления о жизни предков.

\*\*\*

«Величие России... во внутренних чертах ее народа. В его редкой талантливости, мудром терпении, повышенной приспособляемости и бытовом интернационализме. Запомним последнее: сегодня оно особенно важно»,<sup>1</sup> — так написал Борис Львович в очередном очерке об истории становления российской государственности. Воплощению последнего постулата посвятил он роман "И был вечер, и было утро". Эта мысль - "бытовой интернационализм" - в нем особенно важна. А что до преданий, то они тоже отражают исторические события, в них сочетаются реальное и вымышленное: "Но есть примеры, когда вымысел настолько безудержен, настолько оторван от действительности, что уже нуждается в корректировке. Тем более, что таким вымыслом обрастают события прошлых лет, а создателями вымысла являются наши современники"<sup>2</sup>. И на все нужно время. Будем надеяться, что

---

<sup>1</sup> Б. Л. Васильев. Собрание сочинений в 8-ми томах. Смоленск, 1994. Т. 5. С. 527.

<sup>2</sup> Кошелев Я. Р. Правда и вымысел // Смоленщина на связи времен героических: Материалы докладов научной конференции, посвященной 50-летию Великой Победы. Смоленск, 1995. С. 49.

в случае с романом "Вещий Олег" создатель вымысла о конунге Олеге, писатель Борис Львович Васильев, окажется прав, и в случае с его «вымыслом» корректировки не потребуются.

## **Часть 2. Генетический код памяти**

*(Смоленск XIX века в романе "И был вечер, и было утро")*

Уже в первой главе романа "И был вечер, и было утро" (1986) есть важное и, на наш взгляд, смелое публицистическое откровение писателя. Оно как бы расставляет все точки и предопределяет тот факт, что у этого романа свой круг читателей:

"Я пишу непоследовательно, и у вас, наверное, все перепуталось в голове. Ну, во-первых, никто последовательно не вспоминает, за исключением, конечно, старых генералов, а во-вторых, кто вам мешает бросить эту книжку? Я понимаю, за кино вы платите деньги, и их надо досидеть, даже если вам давно ясно, что никто никого не убил, не убьет и убивать не собирается, но чтение-то у нас пока бесплатное, правильно?» (22) <sup>1</sup>.

Сегодня, когда нас все чаще стали интересовать страницы российской истории царского времени, так называемые "лубочные" сюжеты, роман Б. Л. Васильева будет прочтен с особым интересом. И не только потому, что в основе лежит увлекательнейший приключенческий сюжет, талантливо изложенный. Писатель зовет

---

<sup>1</sup> Здесь и далее ссылка на издание: *Васильев Б. Л. И был вечер, и было утро. М., 1989.*

своего читателя в мир истории, в мир жизни города Прославля как раз накануне первой русской революции 1905 года.

Васильев писал свои произведения всегда чуть раньше, чем того требовала "идеология" или историческая необходимость. Поэтому на них мало обращали внимания. Достаточно вспомнить, что небезызвестная повесть "Завтра была война" "тихо" вышла в 1984-ом и обрела небывалую популярность лишь спустя год-полтора, когда после "официально объявленной" перестройки все заговорили о жизни страны до войны и о репрессиях 30-х годов.

Подобное произошло и с романом "И был вечер, и было утро". Читаешь страницы описаний традиционных в то время крещенских кулачных боев у берега Днепра или эпизод о военном параде зимой у памятника героям Отечественной войны 1812 года на Офицерском плацу и ловишь себя на мысли, что ты это уже где-то видел (не "читал", а именно "видел", ибо кино давно уже опережает литературу): кинороман Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник» не об этом ли?

Итак, какой-либо необходимости в романе "И был вечер..." в 1989-ом не было, и он вскоре забылся. В начале 90-х на его место пришло огромное количество подобных (да и во многом превосходящих по масштабу) произведений. Но если взять во внимание то, что Васильев никогда не стремился стать "рулевым" исторического процесса, покаяния ли, или исторического изображения правды, то «вытеснение» его романа вновь появившимися произведениями не столь важно. Однако оставим этот дискуссионный вопрос историкам и обратим внимание на то, что в свете обозначенной нами темы интерес представляют "смоленские страницы". А если учесть, что роман вообще посвящен Смоленску XIX века, то интерес этот удваивается.



Сюжет романа построен на многочисленных легендах, слухах, домыслах, на рассказах очевидцев, воспоминаниях бабушки писателя. И не стоит сразу же бросаться в архивы или листать старые подшивки "Смоленских ведомостей", слухи уже давно вошли в неофициальный реестр народного фольклора.

Задача писателя в очередной раз показать то, не как это было на самом деле, а как это могло бы быть. Это художественное повествование о жизни предков, цель которого - раскрыть и осмыслить нечто иное, необычайно важное, то, что выше истории: "Личная история каждого человека, генетический код его памяти, тоже ведь вырождается, если не питать ее своевременно" (7).

Почему роман начинается с описания крещенского кулачного боя? С одной стороны, чтобы показать, казалось бы, шуточность, скоморошность и во многом театральность первой кулачно-кровавой стычки, основанной не на злобе и ненависти друг к другу, а на традициях демонстрации удали, отваги и народного духа. А с другой, чтобы дать читателю почувствовать контраст между действительно театральными, лубочными картинами и той нешуточной кровью, которая прольется вскоре на тоже, казалось бы, изначально бутафорских баррикадах еврейской слободки в Садках и потечет бушующей рекой кровопролитья русского народа в XX веке (глава 8).

Васильев воскрешает прошлое, которое того "требуется". Но зачем? Ведь для любого воскрешения понадобится историческая точность? Однако писатель оказывается прозорливей своих оппонентов <sup>1</sup>. Он знает их упреки заранее, потому и пишет:

---

<sup>1</sup> Карпов А. И. История не терпит суесловья // Литературная газета, 1987, 1 июля. С. 4.

"Воскрешение — это скорее легенда, скорее романтика, чем бытовой реализм".

Откуда мы, кто мы, почему мы такие? Где и когда произошло то, что происходит сегодня, и когда мы допустили ошибку, ставшую для нас роковой? Почему не хотим учиться на собственных ошибках, а учимся только на победах? Вот круг вопросов, интересующих писателя, вопросов, ответы на которые станут для читателя подчас неприятным откровением, да и не каждый на них сможет ответить.

"Шла Успенка на Пристенье, а Пристенье на Успенку, заранее, еще во время переругивания, для чего, собственно, таковое и было заведено, подбирая себе соперников по силам и злости. Били, не шутили, вполне серьезно били, да и целили, куда следует, но в этой схватке, как правило, не было ни злобы, ни ненависти. Были азарт, спортивная злость, упорство и та лихость, за которую так любили прославчане эту битву на льду. Молодецкая удаль людей бесхитростных, отходчивых, выходивших на бой без камня за пазухой и без желания мстить, но самолюбиво — хоть морда в крови, да сам не побит! — не уступавших ни шагу. В схватке можно и нужно было помогать товарищу, коли ему приходилось туго, но помогать открыто, взяв на себя его противника и тем самым давая ему возможность либо передохнуть, либо сменить врага по силенкам. Если же кто нарушал эти неписанные рыцарские правила, нападал на неприятеля при численном превосходстве (все на одного!) или бил сзади, над дерущимися вырастал молчаливый Теппо Раасекколо, и бойцы обмирали:

- Братцы, Степа кого-то заприметил...
- Погоди, Пристенье, отмахиваться, дай судье пройти!» (63).

Почему произошло так, что в размеренно живущем своими общими правилами, общими праздниками, общим бытом, общими делами тихом и мудром городе появилась вдруг злоба, недоверие и откровенная ненависть к рядом веками живущим бок о бок людям разных национальностей? Почему в этой последней крещенской драке появились "недозволенные приемы"? ("Все молча глядели на окровавленную голову Коли Третьяка... — Гирькой. Гирька на ремешке — оружие приказчиков. Били, значит, из Пристенья..."). И почему два аристократа в последней главе произносят: "Нам никогда не победить Пристенье"? И откуда это странное, хотя и исторически обусловленное, деление города именно на три части: Крепость, Успенку и Пристенье? И, наконец, почему первая баррикада началась "еврейским погромом" в спокойно живущем интернациональном городе?

Итак, как часто напоминает нам писатель, "все по порядку".

Интересно авторско-историческое обоснование триединого членения города. Приведем пространные, но для краеведов необычайно важные цитаты из романа:

"...Наш Прославль делится на три части: на Крепость, Успенку и Пристенье. Крепость... лучшая часть города на холмах правого берега... Там жили богатые, чиновники да гимназисты, а остальным житье было... не по чину... Между холмами и берегом лежала широкая луговина. Вот ее и стали заселять... Так образовалось Пристенье, жители которого постепенно прибрали к рукам торговишку... Здесь со временем и главная торговая площадь, главные торговые склады, главные базары, лабазы, лавки и магазины, вследствие чего и жили в Пристенье купцы и лабазники,

приказчики и ворье, потому что какие же торги без воря или приказчики без жуликов? .. Жители Пристенья посторонних не жаловали.., а прогоняли с удовольствием и всегда в одну сторону: за реку. Там была гора, на которой когда-то стоял монастырь Успенья Божьей Матери, где жил люд мастеровой, изгнанный аристократией из Крепости и перекупщиками из Пристенья и редко с ними общавшийся, да и то лишь по делу. Стачать сапоги, привезти дровишек, сшить одежонку, построить, доставить, починить, донести, поднести, дотащить, оттащить — ну и так далее" (10).

Однако более исчерпывающая информация находится во 2-ой главе.

«Суровая, аристократическая и неприступная Крепость с чисто подметенными улицами в каштанах и кленах; с аккуратными особнячками, равными не тщеславию владельца, а его возможностям; с рессорными экипажами на резиновом ходу; с всадниками на таких лошадях, какие только могут присниться Байрулле; с тихими, малолюдными и очень торжественными церквями и соборами, с чинными гимназистками и бахвалами гимназистами, с франтами офицерами и старательными чиновниками, с благолепием прошлого, благополучием настоящего и отсутствием будущего. Это Крепость. Цитадель традиций, аристократизма, чести, благородства, презрения, холода, надменности и чудачества. Она не стоит над Прославлем — она парит над ним.

Если Крепость — вершина, то Пристенье — подножие. Солидное, неспешное, сытое, хитрое, а потому и недоверчивое. Мощенные крупным булыжником улицы подметены, но как-то неопрятно смотрятся, может быть, потому, что голы: здесь деревья на улицах заменяются георгинами в палисадниках и геранью на

окнах. Дома пусты, высоки, длинны, широки и вообще неестественны, ибо выявляют не вкус владельца, а его кредит; маленькие – и не очень маленькие – деревянные дома и домишки служат фоном купеческим замкам Пристенья, а также убежищем второсортности, вдовства, начинающих, служащих, доживающих и ворья, которого тут, что воробьев. Церквей здесь, что лавок, но лавки жизнеспособнее церквей, потому что они служат живым, тогда как церковь Пристенья существует с отпеваний да посмертного отпущения грехов, и рынок куда священнее для жителя Пристенья, чем храм господень. Здесь торгуют хлебом и девочками, скотом и своднями, колониальным товаром и порнографией из Одессы, выдаваемой за парижскую. Можно было бы сказать, что жизнь здесь кипит, если бы могло кипеть ведро с тараканами. Оно кишит, и жизнь в Пристенье тоже. Кишит жизнь: скрипят бесконечные обозы и бесконечные засовы, грохочут сгружаемые товары и отпираемые лавки, визжат свиньи в мясных рядах, дешевые девочки вокзалов и ножи на точильных камнях. И непременно где-то кого-то бьют: то ли приказчики вора, то ли воры приказчика, то ли те и другие вместе цыгана, поляка или студента. Это – Пристенье. Чрево города, его жратва и его отбросы, его наслаждения и его отравы, его сегодняшняя сытость, его похоть и его равнодушие. Оно ненавидит прошлое, ибо прошлое его темно и преступно, сочно живет настоящим и недоверчиво поглядывает в будущее, уповая на бессмертный рубль куда больше, чем на бессмертную душу.

Если Крепость потребляет, Пристенье поставляет, то должен же кто-то делать то, что можно употреблять и поставлять? Должен. И есть. И пребудет во веки веков: это Успенка.

Здесь улицы заросли травой, куры шарахаются из-под ног, голубки воркуют на дырявых крышах, а собаки по совместительству охраняют все дома разом. Я сказал, что улицы заросли, но, строго говоря, здесь и нет-то никаких улиц. Здесь исстари строились, как хотели, и если окна Данилы Прохоровича смотрят на дом Байруллы Мухиддинова, то окна Байруллы смотрят вообще черт-те куда, но совсем не в окна Самохлебова; а для того, чтобы завезти дров во двор Юзефа Яновича, надо сперва въехать во двор Тепло Раасекколы, пересечь его под углом, снять кусок забора, разделяющего владения Тепло от владений Маруси Прибытковой, миновать ее двор, выбраться на какую-то никому не известную и никуда не ведущую улицу и только потом дотащить до пана Заморы через угол сада Кузьмы Солдатова. Но это никого не смущает, люди сообщаются друг с другом по кратчайшим расстояниям, не принимая во внимание ни заборов, ни оград, ни чужих дворов, ни общих собак, а гроб с покойником передают на руках по такой прямой линии, которой позавидовал бы сам великий градостроитель России. Здесь от зари до зари вздыхают кузнечные мехи, орут младенцы, ржут лошади, смеются женщины, стучат молотки, визжат пилы и бурлят котлы, в которых стирают, варят, кипятят и готовят клей, чернила или гуталин для всего города. И все рядом, все плечом к плечу, в тесноте, да не в обиде, и, если чихнули в одном краю, «Будь здоров!» кричат со всех сторон. Кричат весело и громко, даже если идет дождь, потому что Успенка, хорошо помня, что было вчера, и надеясь, что завтра будет не хуже, в поте трудов своих не замечает дня сегодняшнего. И, не зная ни снобизма Крепости, ни завистливости Пристенья, знает только то, что жить, просто жить не самое скучное занятие на свете.

Когда я думаю об этом городе, я почему-то представляю огромного, старого, невозмутимого верблюда, неторопливо бредущего сквозь пустыню Истории, волоча все свое достояние в двух своих горбах. Один горб – Крепость, другой – Успенка, а Пристенье просто прогалина между ними. Ровное место» (27 - 29).

Но главный вопрос остается: почему в таком интернациональном городе вдруг возник пресловутый "еврейский вопрос", вылившийся в небезызвестный "еврейский погром"? Вопрос и ответ необычайно сложный и вместе с тем очень простой.

Однако в начале об "интернациональном". Обратимся к персонажам.

Мой Сей. Образ этого старого еврея, чернильных дел мастера, чрезвычайно важен. Это ярчайший образец Мастера, на котором держится не только весь город, но и вся его эстетика, веками накапливаемая и тщательно оберегаемая.

Евреев в общем-то всегда недолюбливали ("Подумаешь, летит пух из еврейских перин"), и под разными предлогами постоянно забирали в полицию. Что бы где ни произошло — виноват был Мой Сей (настоящее его имя Моисей, но "Мой Сей" закрепились за ним из-за на всю Успенку причитавшей жены Шпринцы во время очередных "заборов" мужа в полицию). Правда, его тут же выпускали («Мы очень извиняемся, ваше высокое превосходительство, но чем будут писать в тетрадках ваши дети, если чернильному мастеру поломают ребра, голову или, упаси бог, руки?"), но не в этом суть.

Мой Сей был Совестью Прославля, не больше и не меньше, и это окончательно выяснилось на баррикадах. "Солдаты, остановитесь! С кем это вы связались, я у вас интересуюсь? В чьи

это дома вы врываетесь без спросу, кого это вы толкаете и даже угрожаете оружием? Может, это турки или японцы? Нет, это даже не евреи, солдаты! Это мирные люди, совсем даже такие, как вы, вы меня слышите, обормоты? Или что на вас надели форму, вы перестали быть людьми? А где же тогда вы оставили совесть? У себя дома, у папы с мамой? Так лучше сбегайте за ней, пока не поздно!»(125). Но, как всегда, "Мой Сея схватили... Совесть была заглушена на глазах, рот ей, так сказать, заткнули физически, и командиры всех рангов вздохнули с облегчением».

Когда после падения баррикад встал вопрос о том, кого арестовывать, а кого выпускать, Мой Сея или Байруллу Мухиддинова, главного мастера по лошадям, крайним вновь оказался тихий и спокойный Мой Сей:

" — Прославль не может существовать без Байруллы, господа,— вздохнул губернатор.— Впрочем, как и без чернил, ибо чем-то подписываться надо. Но лошадь важнее всеобщей грамотности, Вы поняли мою мысль, господа?" Мой Сей исчез из жизни Прославля так же внезапно, как и появился. В историю он унес секрет своих чернил, который больше никогда так и не удалось восстановить.

Мой Сей был пятым судьей, оценивавшим правильность "крещенского мордобойства". Первым был Данила Самохлебов, делавший такие "колеса, что заказчики приезжали из самого Валдая". Он мог бы преспокойно жить без бедности в Пристенье, но на все предложения спокойно и основательно отрезал: "Я труд свой наиболее уважаю. А труд уважать — значит, грехи не скрывать". Успенка делала, а Пристенье — перекупало. А это большая разница.

Третьим успенским героем, третьим судьей, был поляк Юзеф Замора, человек с хронической честностью: "Он был настолько честен, что при всей своей католической, а значит,



сверхнормативной религиозности признал существование Аллаха и Магомета, поскольку иначе не мог объяснить, почему на свете живет такой хороший человек, как Байрулла Мухиддинов, его друг и сосед по судейской скамье" (15).

Героически умирали эти люди во время восстания:

"Данила Прохорович Самохлебов отстреливался из винтовки, а когда расстрелял все патроны, с нею наперевес бросился на солдат, и тогда начали стрелять в него. Он падал, поднимался, в него снова стреляли, и он снова падал и снова поднимался. Из него вытекло столько крови, что двадцать лет на том месте ничего не росло, а потом сам собою появился куст шиповника. Он и сейчас цел, этот куст (бабушка мне показывала): при перепланировке он попал в черту городского сквера. Шиповник разросся, возле него стоит скамейка, и там зимой и летом после работы соображают на троих работяги из авторемонтных мастерских – колесных дел мастера нашего времени.

Мне кажется – да, признаться, и бабушка так думала, - что Данила Прохорович перед смертью услышал крик из собственного дома. Слабенький писк новой жизни: его супруга от грохота, огня и криков разрешилась преждевременно, но младенец выжил. Мальчик, о котором так мечтал мой прадед. Его душа пробудилась, когда душа Данилы Самохлебова отлетела в небытие, и в семье всегда верили, что сын станет отцовской копией»(148).

Юзефа Яновича Замору «сшибли с ног и забили прикладами, а он все еще что-то кричал, пытаюсь прикрыть голову загрубелыми, изрезанными дратвой руками. Ванда Казимировна со старшей дочерью прятались в погребке, но Ядзя была бесстрашной, потому что очень любила отца, и выбежала на его крик...» (147).

«Говорят, солдат, заколовший слепую Ядзю, ни разу более не уснул. Когда наступала темнота, он начинал ходить и все ходил и ходил, пока не помер. А бабушка мне говорила, будто не ходил он, а сразу ослеп, бросил винтовку и слепой пошел в свою деревню. Он брел, растопырив руки, и кричал: «Дзенькую пана бардзо! Дзенькую пана бардзо!..» А потом помер, конечно, но дело ведь не в этом. Дело в крике, который, однажды родившись, уже не замирает в вас никогда...» (147 - 148).

Четвертым Мастером, четвертым судьей, был татарин Байрулла. Он особо почитался аристократами Крепости, потому что век XIX-ый — век лошадей. Лошадник Мухиддинов при одном лишь взгляде на годовалого стригунка "мог определить его способность, силу, судьбу, любимый аллюр и день смерти" и никогда не брал денег за то, что лечил лошадей: "Доброе дело никогда нельзя оскорблять расчетом". Он был единственным, кто отделался "легким испугом", получив полсотни плетей от губернатора за участие в восстании.

Жена арестованного Мой Сея Шпринца велела вылить в канаву перед баррикадой по бочке превосходных чернил разного цвета. Солдаты падали в канаву и оттуда вылезали "расписными": "штурмовавших баррикады безошибочно узнавали и через тридцать три года".

Народ на баррикадах дрался отчаянно, ибо все были едины в своей цели. (Показателен и тот факт, что Байрулла, так любивший лошадей, связал бороны друг с другом и спрятал их в траве, дабы избежать штурма казачьими конниками! А Данила Самохлебов, почувствовав нешуточность восстания Успенки, "взялся за старое ружье": "Что же это такое творится, если сам Байрулла бороны

лошадям ставит, чтобы они ноги переломали?" — с чувством сокрушались жители Прославля).

И наконец, пятый судья, финн Теппо Раасеккола, в народе Степа-ломовик. Небывалой силы человек "мог завязать свой лом на шее на манер галстука", а потому Степе запрещалось драться на Крещение. Если бы судьбе было угодно отправить Теппо на баррикады, он был бы там, без всякого сомнения. Но судьба ему приготовила другое испытание.

Как и Мой Сея, его арестовали еще до штурма, выстрелов и артиллерийских залпов. Но если старого еврея - за слова, то финна - за "хладнокровное убийство офицера". Однако такое ли уж оно "хладнокровное"? Ведь на его глазах офицер застрелил его любимую Марусю, хотя и «шальной пулей». Степа «поднял ее с земли, поглядел в глаза, прижал к себе и бережно положил на то же место. Медленно выпрямился в полный рост и был столь страшен, что опытный полицейский офицер начал в ужасе пятиться... Он просто взял этими руками офицера за голову и сжал. Раздался дикий, нечеловеческий... крик... Вокруг стояли с оружием наготове полицейские, но никто не решался его тронуть: — Сам, пустите"(103 - 104). Нельзя не восхититься силой духа этого Мастера! Показательна и казнь Теппо. Он вдруг понял, что виселица не выдержит его тела, попросил топор и молча соорудил себе новую виселицу.

Власти казнили троих: Теппо, старого наборщика "Прославльских ведомостей", члена РСДРП Евсея Амосыча и так и оставшегося для всех «бравым гусаром» поручика со смешной и о многом говорящей фамилией-прозвищем Гусарием Улановичем.

Больше о Мастерах в романе не упоминается. Есть лишь одна небольшая авторская ремарка:

«Бабушка утверждала, что после этого обстрела и последовавшего за ним «подавления» на Успенке не осталось Мастеров. Мастеров с большой буквы, как я и написал, началась эпоха подмастерьев, которая затем развилась в эпоху шабашников, то есть людей, скверно делающих все что придется, чтоб только зашибить деньгу. Деньга для шабашника стала той целью и тем смыслом, каким для Мастера являлся конечный результат его труда. И плач по Мастерам был плачем по Успенке, а плач по Успенке – плачем по Мастерам»(146 - 147).

\*\*\*

На страницах романа "И был вечер, и было утро" читатель найдет еще много неповторимых образов, искусных перипетий, острых сюжетных моментов. Еще три интересных персонажа города Прославля - герои баррикад Прибытков, Коля Третьяк и Вася Солдатов. Очаровательно выписана и Роза Треф, хозяйка ночного дома-кабаре, которая всеми силами помогала революционерам; безукоризненными кажутся и "безнравственные" девочки, оказавшиеся куда более благородными, чем лжепатриот и мнимый народник пан Вонмерзкий из Крепости или купец Мочульский из Пристеня.

Борис Львович Васильев как-то сказал, что мы "приучены к истории сочиненной", к стереотипам "беззастенчивой лжи" и что нам надо ясно осознать.., что честь и благородство были достоянием всенародной нравственности, а не прерогативой дворянства".

Странную мысль высказал в свое время доктор филологических наук А. Карпов, рецензируя этот роман в "Литературной газете". Роман, по его мнению, — о сценах "с развесистой клюквой и пикантными подробностями быта прославчан, обитавших в заведении Розы Трефф" и "о социальной полуправде". И далее в лучших традициях критики эпохи соцреализма о том, что в повествовании отсутствует роль уже организованной в то время компартии и т.д. и т.п.

Рецензии старого времени сегодня, конечно, во многом выглядят нелепо. Почему мы все время пытались, да и сегодня пытаемся литературу окружить ореолом идеологии? Ведь роман, по сути, о том, как один сосед помогает другому во время беды. А красные флаги над баррикадами появились вовсе не по причине вояжа московских социалистов-большевиков, да и в действиях Мой Сея никак не прослеживается следствие введения в роман образа члена РСДРП Евсея Амосыча — они сосуществуют независимо друг от друга. И наконец, роман вовсе не о первой русской революции. А раз так, то ответим на последний, самый важный вопрос: почему еврейским погромам жители города сказали свое твердое "НЕТ"? И почему доселе обыденное дело ("Подумаешь, летит пух из еврейских перин") стало делом защиты униженных и оскорбленных, почему сосед стал наконец защищать соседа, а не закрывать наглухо двери и ставни? "Доколе", говорившееся некогда полупшепотом, вырвалось-таки на баррикады. (Не вырвется ли «доколе» и сегодня, ведь совсем недавно, в 2001-ом году, в Садках вновь разгромили старое еврейское кладбище?)

"Историки утверждают, что первое восстание началось в ночь со вторника на среду, но это совсем не так. Первое восстание в моем родном городе началось в десять часов тридцать семь минут

следующего дня, а губернаторское "Р-разогнать!" всего лишь достигло ушей жандармского полковника», - утверждает писатель.

Борис Васильев спорит и не соглашается с историками, с теми, кто писал историю революционных событий, и охотно верит людям, очевидцам, потому что историю пишут для государства и идеологии, а люди рассказывают друг другу о жизни. А это совсем не одно и то же. Небезразличный читатель, видимо, обратил внимание на "гирьку", которой ударили в последнем крещенском бою Колю Третьяка. Откроем конец 4-ой главы и посмотрим на "несимпатичную" и неприглядную во всех отношениях фигуру Изота Безъяичнова, "племянника своего дяди". Вот как автор дает его появление в романе. Описание настолько колоритное, что позволим привести его без купюр:

«Я уже совсем было намеревался ставить точку в этой главе, да случайно наткнулся на записи юных лет, где вдруг обнаружил неизвестно кем рассказанное о еще одном весьма даже действующем лице того времени. Каюсь, не собирался я о нем писать, поскольку очень уж он мне несимпатичен, но несимпатичные сплошь да рядом оказываются двигателями самых невероятных исторических событий и распорядителями судеб многих симпатичных.

Речь идет об Изоте – племяннике своего дяди. Когда-то их общий предок уличен был в клевете и поклепе и по суровым законам тех наивных времен нещадно бит батогами и лишен богомерзкого своего языка, дабы не возводил напраслину на добрых людей. Тогда – по темноте тогдашнего правосудия – действовал закон «доносчику – первый кнут» во всей своей детской непосредственности; предок сполна получил то, что ему причиталось, почему его ближайшие потомки и стали значится

Безъязычновыми. Таковое прозвище и закрепилось за ними в веках, но дядя, открывший в Пристенье «Колониальную торговлю», счел ее неблагозвучной для фирмы и вывески и с дозволения полиции чуть облагородился, назвавшись уже Безъязычновым. Вот что стояло не столько за дядей, сколько за племянником, а почему именно, выяснилось несколько позднее.

Тогда, в канун двадцатого столетия, Коля неплохо ударил. Так неплохо, что не только перешиб Изоту нос, отчего тот до гробовой доски стал походить на старого мопса, но и заставил, видать, лязгнуть зубами, вследствие чего Изот сам себе откусил кончик языка и из-за этого самого не только начал шепелявить и причмокивать ни с того ни с сего, но и почти вернул себе облик древнего основателя фамилии. Это внезапное двойное изменение, превратившее человеческое... ну, почти что человеческое лицо в песью морду, а человеческую... ну, почти человеческую речь в нечто косноязычное, сильно повлияло и на мир внутренний. Изот стал нелюдимым, перестал колоть свиней, расстался с прежними друзьями, завел множество собутыльников и очень привязался к полутемному во всех отношениях трактиру Афони Пуганова. И всей своей оскорбленной душой возлюбил три вещи: водку, отечество и речи в его защиту»(74 - 75).

Изота обидели, оскорбили и унизили. И кто? Нацмены, цыгане. Его, русского до кончика языка. Значит, нужно их бить и уничтожать. И, как правило, под нерусскими тут же подразумевают евреев: " — Знаешь, когда начинают пить под "Боже, царя храни", то похмеляются под "Бей жидов, спасай Россию". А они, во главе с шепелявым Изотом, запели именно эту песню".

Но почему Успенка ополчилась и стала возмущаться сначала вслух, а потом вышла на баррикады? Народ возмутился тем, что

аристократы Крепости знали о готовящихся еврейских погромах, знали и официальные власти, знали, что готовится, знали, кто затевает (черносотенцы к тому времени были уже известны). Знали и сами помогали составить списки евреев, потому что черносотенцы пойдут штурмовать с "хоругвями и царскими портретами", «да еще и с агентами охранки». И когда Успенка об этом только догадывалась, Сергей Петрович Белобрыков, дворянин и волонтер англо-бургской войны, приехавший из Лондона с кожаным портфелем, набитым номерами "Искры", отбросил в сторону политику и внимательно прислушался к словам Прибыткова: "Мне совсем не все равно, какими чернилами я буду писать завтра. Вы понимаете мою тревогу, господин волонтер? Или буры Вам ближе, чем земляки-евреи?"

Безусловно, в воздухе "вита́л дух революции". Но если "верхи" действительно уже ничего не умели, то ведь "низы" и не хотели, они были далеки от политики и революции. Им было некогда, они работали. Они мастерили и делали. И нужны были сильные, надежные и обоснованные доводы и аргументы, чтобы, по крайней мере, заставить их увидеть, что в их дом идут враги, которые будут разрушать, грабить и убивать. А тут добавились и социальные разногласия: Успенка никогда не доверяла Пристенью, и у нее постоянно "чесались кулаки", чтобы дать "бой Пристенью по своему календарю". В общем, нужно было всего лишь убедить цыгана Колю Третьяка:

"- Если бы кто-нибудь — ну, допустим, Изот — стал насмерть избивать нашего Мой Сея или валить на кровать его Шпринцу, что бы ты сделал?"

— То же, что и однажды, только теперь бил бы дольше и серьезнее".



В то время как власти и черносотенцы готовили "организованный погром", "гордые бобыли Успенки и проверенные огнем аристократы Крепости тихо готовились защищать чужих дочерей, чужое имущество, чужие жизни и чужое достоинство". Простые люди оказались сердечнее, надежнее и даже патриотичнее, но старый еврейский мастер чернильных дел остался в памяти потомков на века: "Спасибо вам, мастера, спасибо, люди добрые. Только у вас не хватит домов, чтобы спрятать в них весь мой народ, а чем я лучше своего народа?"(86).

Меж тем в кабаке Пристенья "среди хрипатых знакомых рыл приказчиков, лабазников, мелкой шушеры и мелкого ворья выделялись официальные лица в неофициальных костюмах. Они особо не орали, не пели, не спорили: они смотрели, слушали и роняли:

— И студентов...

— Бей студентов, спасай Россию...

— И социалистов...

— Бей! Спасай!

— И полячишек...

— Бей! Спасай!

— И кавказцев...

— Б-е-е-е-й!

— "Боже, царя храни. Сильный, державный, царствуй на славу..."

Кто там не встает? А ну, поднять!.. На славу нам! На страх врагам!.. Начали с евреев" (82-83).

И никто не помышлял, что в ответ на это можно просто "набить пьяное мурло приказчику", потому что знали: "погром негласно был

санкционирован сверху, а против властей дружно выступать еще не решались".

Однако к общей беде никто не остался безучастным, даже четыре пастыря разноплеменного успенского населения:

" - Значит, ранним-рано ведете в церковь девушек и женщин.

- В костел — детей и старух.

- В мечеть — почтенных старцев, хвала Аллаху" (89).

Но когда баррикада увидела впереди черносотенцев вооруженную роту жандармов, иллюзии окончательно развеялись, и все поняли, что шутки закончились. Закончились шутки окончательно и на шестой день сражения.

Шпринца не хотела пускать Мой Сея на баррикады, и тогда он провидчески произнес: "Ты знаешь, что происходит, когда солдаты с оружием врываются в дома, где мирно живут мирные люди? Они забывают закон и справедливость, а это очень опасно, и я должен объяснить им, что куда лучше забыть дома ружье, чем свою совесть". Объяснить было не суждено. Власти бросила на баррикады артиллерию, "и вот уже чей-то изгрызанный мышами шкафчик вместе с древней люлькой парят в воздухе".

Но объяснить было и невозможно. Старый полковник жандармерии понял все раньше других и разнес старую седую голову из собственного нагана. Этим выстрелом была поставлена последняя точка "в явно архаичной традиции русского потомственного офицерства".

Герои погибли, честь закончилась, совесть растворилась во лжи, а добро заразилось вирусом недоверия к собственной личности. А что же армия? После подавления восстания тридцать семь

офицеров подали «рапорт об отставке, откровенно указав причину: "Нападение на собственный народ".

Прославчане вступили в новый XX век с напрочь растерянными нравственностью, смыслом существования и этическими заветами предков. Тишина закончилась. Наступала буря. Увы, концовка нашего литературного экскурса в роман "И был вечер, и было утро" далеко не оптимистична. Откроем последнюю авторскую ремарку из восьмой главы и посмотрим, что пришло в XX век из прошлого:

«Я много думал, копался в книгах, расспрашивал старых людей, пытаюсь понять, как и когда зачал в сердце русского офицера робкий огонек особого чувства к народу своему. Ведь существовал же он, этот зажженный еще декабристами огонь, - пусть горел он не так уж ярко и далеко не под каждым мундиром, но горел! Он был неосознанным, невыраженным пониманием того, что офицер присягает не государю, а народу своему или, чтоб не столь уж радикально, - народу в лице государя. Так когда же погасла она, эта свеча родства, свеча единства армии и нации? В пулеметных безумиях русско-японской? В соленой купели Цусимы? В жестоких карательных боях первой революции? А может, в негромких выстрелах в собственный висок?.. Известно, что честь нельзя убить: можно лишь убить честного человека. Зато честь можно отнять. Силой или обманом. Заменить пустопорожним постулатом или вообще не возвращать ее с детства. И тогда появляется армия, способная воевать против собственного народа с куда большей яростью и жестокостью, чем против врагов Отечества. Ах, максимы максимовичи и капитаны тушины, как же не вовремя выстрелялись...

- Ор-рудия, огонь!..»(139).

Сделаем вывод. Может быть, еще не все потеряно?

### ***Часть 3. Город Добра и город Страха***

*(Смоленск 20-30-х годов XX века в повестях “Летят мои кони”  
и “Капля за каплей”)*

В 1980 году выходит в свет автобиографическая повесть Б. Л. Васильева “Летят мои кони”, а позже, в 1988 и 1993-ем, два постскриптума к ней. Повесть представляет собой как бы сценарий эпического повествования о жизни города детства писателя с яркими запоминающимися картинами быта Смоленска 20-30-х годов. Перед читателями встают картины “повести о времени и о себе”, о времени, истории и памяти старого города - колыбели русского государства, с его неповторимым интернациональным колоритом, богатством ярмарочных красок.

Мы вместе с автором едем с “ярмарки”. “Еще размашисто рысят кони, еще жив праздник в душе моей, еще кружится голова от вчерашнего хмеля и недопетая песня готова сорваться в белесое от седины небо... Еще хочется пробежаться босиком, поваляться на траве, нырнуть с обрыва в незнакомый омут”(1, 5) <sup>1</sup>. И с самых первых строк вместе с автором начинаешь переживать романтическую влюбленность в то, что БЫЛО, и осознаешь реалии того, что ЕСТЬ: “Я еще хочу бежать вслед за уходящим поездом, но

---

<sup>1</sup> Здесь и далее ссылка на издание: *Васильев Б. Л.* Собрание сочинений в 8-ми томах. Смоленск, 1993.

уже не могу его догнать и рискую остаться один на гулком и пустом перроне. И хотя четко осознается, что между “хочу” и “могу”, “еще” и “уже” начала вырастать стена, в реальности видишь, каким огромным нравственно-духовным потенциалом мы обладали”(1, 80).

Мастер современной русской литературы Борис Васильев в очередной раз обозначает проблему исторической памяти, показывает причины распада времени на две грани: “Было” и “Есть”. Автор напоминает, что человек, забывший свои истоки, корни, заранее обречен на гибель. Своей повестью, честным и емким словом он просит человека думать исторически, масштабно, с перспективой на ЗАВТРА.

Очень важный общечеловеческий смысл заложен в эпилоге повести, написанном в 1993 году. В нем автор не просто размышляет о судьбах русской интеллигенции и ее целях, но и делает недвусмысленный намек читателю: “В книге Судеб России еще великое множество чистых страниц”. А в резюме определяет судьбу русской интеллигенции двадцатого столетия: “У меня есть могила деда, и нет могилы отца. Прах деда растворился в родной земле, напитав собой корни деревьев и трав; прах отца улетел в черную трубу крематория” (1, 80).

Писатель задается вопросом: кто мы такие и откуда мы? Позже, в канун 1997 года, писатель нам ответит на свой вопрос. “Мы все от Рыбачьего до озера Хасан и от Берингова пролива до речки Псоу (маленькая такая речка, я в ней рыбешку ловил, теперь не половишь: государственная граница), мы все - инопланетяне. Нас семь десятков лет везли в наглухо задранный огромный звездолет через бездну времен, старательно вымывая из наших мозгов

ПРОШЛОЕ. Представления о предках, памяти, традициях, обычаях, языке, культуре, морали и нравственности...”<sup>1</sup>.

Уберечь человека от “вымывания мозгов” - именно эту цель преследует васильевское эссе о Городе Добра. И хотя с 1980-го до 1997-го прошло 17 лет, мы видим, как цельны мысли писателя, как они гармонируют с его языком.

А язык у писателя богат: ярок, красочен, горделив и образен. Великолепные эпитеты-сравнения дают возможность всецело прочувствовать огромную любовь и признательность, которые питает к старому Смоленску автор. Благодаря автору начинаешь глубже понимать, что значит “малая родина”. И этому способствует общий лирический настрой всего повествования. Это не просто воспоминания, у которых “странное свойство с горечью помнить об утраченном навеки чисто русском явлении и вдруг ощущать во рту физическую горечь и аромат той горчицы, которую готовила бабушка”, это скорее лирический эпос в рифмованной прозе (“я еду с ярмарки, что-то найдя, а что-то потеряв; ...все, что я везу с ярмарки, умещается в моем сердце, и мне легко; я не успел поумнеть, торопясь на ярмарку, и не жалею об этом, возвращаясь с нее; многократно обжигаясь на молоке, я так и не научился дуть на воду, и это переполняет меня безгрешным гусарским самодовольством; так пусть же неспешно рысят мои кони, а я буду... смотреть на далекие звезды и ощупывать свою жизнь, ища в ней вывихи и переломы, старые ссадины и свежие синяки, затянувшиеся шрамы и незаживающие язвы”).

Васильевский Город Добра очень интеллигентен, приземленно-осторожен, обиходно внимателен к каждому человеку, которому

---

<sup>1</sup> Васильев Б. Л. Предисловие к Новому Году // Российские вести, 1997, 4 января.

“сказочно повезло, потому что он увидел свет в Смоленске”. Да, есть города красивее и старше, но Смоленск писателя навсегда останется “городом - плотом, на котором искали спасения тысячи терпящих бедствие”.

Его Город Добра исторически и географически расположен на Днепре, вечной границе между “Правом и Бесправием, потому что именно здесь пролегла пресловутая черта оседлости”, так что раскачиваемые историей людские волны разбивались о его стены, оседая в виде “польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок”. Яркие и емкие сравнительные эпитеты дают реальное представление об истории Смоленска и о жителях города, о том, что “здесь победители роднились с побежденными, а пленные находили убежище у вдов”, что здесь “вчерашние господа превращались в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего врага”, что здесь “искали убежища еретики всех религий, и сюда же стремились бедовые москвичи, тверяки, ярославцы, дабы избежать гнева сильных мира сего”. И каждый тащил в город свои пожитки, “если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки”. “Все это разноязыкое, разнобожье, разноукладное население” лепилось подле ожерелья Всея Руси города Добра, возведенного Федором Конем еще при царствовании Бориса, “и объединилось в единой формуле: житель города Смоленска”.

Интернациональное строится на основе национального... И необходимо понять и полюбить старый Смоленск Б. Л. Васильева именно за его интернациональность и мученическое самопожертвование во благо всех людей. “Я громко читаю, еще не ведая, что плыву на плоту и что люди делятся не на русских,

поляков, евреев или литовцев, а на тех, на кого можно положиться и на кого положиться нельзя”(1, 9). “Я ел из одного котла с моими друзьями татарчатами, и тетя Фатима наравне с ними одаривала меня сушеными грушами; венгр дядя Антал разрешал мне торчать за его спиной в кузнице, где легко ворочали молотками цыгане Коля и Саша; Матвеевна поила меня козьим молоком, в Альдону я сразу влюбился и множество раз дрался из-за нее с Реном Педаясом. А еще были старая бабушка Хана и строгая мадам Урлауб, немец дядя Карл и слепой цыган Самойло, доктор Янсен и ломовой извозчик Тайво Лахонен и ...Господи, кого только не осеняли твои ветви, старый славянский дуб?”(1, 10).

И дабы осмыслить простейшую формулу жизни жителей Города Добра, нам вместе с писателем приходится негодовать оттого, что “крепость выдержала пять осад, но она не могла выдержать ни последней войны, ни лихорадочного послевоенного строительства”, а затем увидеть храм, двери которого всегда распахнуты во все стороны, но “никто не стремился узнать имя Бога и исповедника”. И всем сердцем ощущается, что “город и детство насыщены Добром” (“я не знаю, что было вместилищем этого Добра - детство или Смоленск”). И наконец, мы ликуем оттого, что “помощь - норма и простейшая форма Добра”.

Кстати будет сказать, что ДУБ не просто символ города Добра, это символ единства всей славянской ветви, под кроной его уживалось множество разноязычных народностей; от дуба веет глубокой теплотой, которая олицетворяет теплоту ладоней, пота и крови, “вечно живую теплоту Истории”. “История не позволяет человеку остаться варваром, даже если он сделается крупнейшим специалистом в области ультрасовременной науки. У нее для этого есть два спасительных аргумента: все уже было и все знания не



делают человека умнее, несмотря на всю их ослепительную новизну... История разлита во времени и пространстве. Есть счастливые города, где дышит историей каждый камень, и счастливые камни, сконцентрировавшие в себе историю. Камни Смоленской крепости, кривая Варяжская улица древнего города, само название его, старый дуб на Покровской горе, Гнездовские курганы и воздух Смоленска питал меня историей, и я чувствовал ее и любил, еще не ведая, что это - Богиня, а не только наука”(1, 10-11).

Однако разглядеть в истории Богиню заранее не подготовленному, ненаученному человеку практически невозможно. Поэтому писатель подводит очень лаконичный итог: “Я с ужасом думаю, каким бы я стал, если бы не встретился с первой учительницей, которая видела свой долг не в том, чтобы, нафаршировав детей знаниями, изготовить из них будущих роботов-специалистов, а в том, чтобы воспитать граждан Отечества своего... - Это самый древний житель нашего города, - говорила она, указывая на дуб”(1, 10).

В ненавязчивой форме рассказа автор знакомит нас и с историей, и с географией, и с памятниками-реликвиями родного города. В размеренной манере повествования улавливается мудрость накопленного людьми опыта, видится осторожная форма обращения с каждым словом, каждой грамматической формой и синтаксической конструкцией. Речь автора-библиографиста позволяет сохранить живое слово, несобственно-прямая речь придает повествованию разговорную непринужденность и легкость.

На примере доктора Янсена, “святого города Смоленска, тихого и аккуратного, очень скромного и немолодого латыша с самой человеческой и мирной профессией врача”, готового в любую погоду, без выходных и праздников “сражаться за людские жизни”,

Васильев учит видеть добро в каждом человеке и смысл в каждом прожитом дне (“святость требует мученичества - это не теологический постулат, а логика жизни: человек, при жизни возведенный в ранг святого, уже не волен в своей смерти, если, конечно, этот ореол святости не создан искусственным путем”).

На примере довоенной жизни своей семьи Васильев показывает нам то, без чего можно обойтись в жизни, а без чего нельзя, “не имеем права” (“становясь на колени перед книгами (из-за частых переездов, иначе их не собрать), я еще бессознательно, еще не понимая, но уже чувствуя, становился на колени перед светлыми гениями всех времен и народов; кажется, я так и остался стоять на коленях перед литературой”), говорит о том, что его отец никогда не стремился к “холуйскому стремлению” “достать”, “добыть”, “купить”, “продать” (какой же надо обладать душой, чтобы выдержать чудовищное давление пресса, имя которому - “как все!”).

На примере смоленских ломовиков-извозчиков автор показывает, как нужно относиться к тем, кто трудится всегда рядом с человеком, к животным; и так, как ты относишься к ним, люди будут судить, добр ты или зол. “К своим помощникам человек относится со справедливой добротой, с детства привыкая делить с ними кусок хлеба; и животные облагораживали человека, делая его не просто добреньким, но требовательным, как к самому себе”.

Написанный с любовью образ матери дает возможность ощутить ценность жизни, которую автор получил благодаря ее мукам и стойкости: “Она дала мне не только жизнь, но и ее обостренное восприятие, оттесненное думами о смерти, которые все чаще посещают меня; она дала мне прекрасный пример любви, самоотречения и преданности”.

Вскользь упомянутые писатели Данилевский и Чарская помогают воспринять Историю не как перечень дат, а как цепь деяний давно почивших людей: “история и литература с детства переплелись в моем сознании, и я до сего времени воспринимаю литературу как беллетризованную историю, а историю - как лишенную беллетристики литературу”. А думы о юности, опаленной войной, дают возможность почувствовать, как исторические события экстремальных ситуаций могут внести сумятицу в пресловутую закономерность и лишить человека одного из его звеньев – юности. “Оставаясь молодыми, мы перешагнули через юность не потому, что взяли в руки оружие, а потому что взяли на себя ответственность за чужие жизни...; ранняя ответственность по-особому оттеняет последующую жизнь; ...на примере своего поколения я берусь утверждать, что молодость - богатство старости”. Светлые воспоминания о бабушке и отце дают возможность поговорить о жизни в целом и ее смысле. “Ах, как спешат мои кони! Я не гоню их, но и не удерживаю, будучи твердо убежденным, что нужно прибавлять жизнь к годам, а не годы к жизни. А дни мелькают..., и мне неведом их конечный счет. И это прекрасно, и надо каждый день начинать так, будто он - последний, а ложась спать, с ликованием ощущать, что впереди - целая жизнь. Да притом еще и непочатая”.

Эта биография не может быть никогда дописана, потому что это биография России и судеб русской интеллигенции XX века. А судьбы интеллигенции безграничны и трагичны. Мы никогда не сможем поставить точку в жизни поколений. Житие человека, пусть даже самого святого, можно когда-нибудь закончить, но как закончить бытописание целого поколения?

Размышляя о судьбах русской интеллигенции, Васильев подводит читателя к мысли о том, что миссия интеллигенции в России свята: “Выявить личность в каждом человеке, восславить ее, укрепить нравственно, вооружить мужеством индивидуальности...”. Убедителен вывод: интеллигентным нельзя стать - “это нравственная категория, а не мера образовательного ценза”. И только интеллигенция поможет русскому народу спастись от “исторического иждивенчества”, освободиться от власти “батюшек”, к опеке которых народ привык так же, как привык “перекладывать свои заботы на их ответственность”.

Память дает человеку возможность, возвратившись к себе самому из прошлого, поразмышлять над своим настоящим и заглянуть в будущее, посмотреть на историю как на цепочку взаимосвязанных и взаимообусловленных событий и фактов, на ход закономерностей. “Жизнь представляется мне горбатым мостом... Сначала мы поднимаемся по нему, задыхаясь в суете и не видя будущего; дойдя до середины, переводим дух... И есть какая-то черта, какая-то ступенька на спуске, ниже которой ты уже не увидишь своего детства, потому что мост перекроет твой взор. Надо угадать эту точку, этот зенит собственных воспоминаний, потому что оглянуться необходимо: там спросят. На том берегу, где мы - только гости. Порою досадные, порою засидевшиеся и всегда - незваные. Не потому, что дети отличаются невинной жестокостью, а потому, что старость только тогда имеет право на уважение, когда молодость нуждается в ее спине...”(1, 29).

Фабула повести нечеткая и расплывчатая. Это отдельно взятые и, на первый взгляд, никак не связанные между собой зарисовки, эпизоды, кадры и отдельные фрагменты из воспоминаний о детстве, семье, работе, старом городе. Все это наполнено

многочисленными лирическими отступлениями. В сущности, это *эссе*, где главная роль принадлежит не воспроизведению четкого исторического или биографического факта, а изображению и описанию впечатлений, раздумий, ассоциаций. Именно философско-эссеистский стиль повествования дает возможность Васильеву объединить все свои зарисовки - кадры, оставив главный стержень четким: “как быстро летят мои кони”.

Повесть представляет собой также зарисовки эпохальных событий истории древнего российского города. В ней заложен основной смысл всех произведений писателя, посвященных смоленской тематике. В ней же сконцентрированы основные идеи темы родного города - Дома, как нечто связующее воедино все раздробленные и разбросанные семьи русской интеллигенции. Повесть дополняет недостающими деталями историю старых смоленских дворян Олексиных из романа “Были и небыли” (1978), продолживших вскоре поиски своего “бремени выбора” в романе “Дом, который построил Дед”(1991-1993). Васильев плавным переходом вводит нас в истоки общей героической трагедии русской интеллигенции на примере Калерии Викентьевны Вологодовой, племянницы генерала Николая Олексина из романа “Вам привет от бабы Леры”, и ее матери, Надежды Олексиной, пережившей ходынскую трагедию в романе “Утоли моя печали”.

Хронологически все эти произведения появились в разное время, чем и вызвана была во многом их негативная критика. Тогда еще не был виден единый смысловой и тематический стержень названных произведений. Однако теперь ясно, что они представляют собой эпохально - эпическое повествование об исторической памяти народа на примере жизни одной из многочисленных ветвей “могучего славянского дуба”, семье дворян Олексиных. И не столь

важно для читателя то, что автор выступает как личный библиограф семейной фамилии. Главное, что ему удалось собрать вместе на страницах своих произведений нити генеалогического древа судеб России двух веков и тем самым внести весомый вклад в историческое изучение “быта и нравов России”, “веками мечтавшей о справедливости и яростно искавшей ее во все времена Смут и Процветания”.

“Люди делятся на три категории не по племени и не по вере, а только по внутренней цели. Четверть из них мечтает о новом доме и строит его. Другая четверть жаждет сохранить старый и его защищает. А большая половина ничего не хочет и ни о чем не мечтает, но при первой же возможности готова спалить старое жилище и влезть в новое, выбросив строителей в вечную мерзлоту”<sup>1</sup>. Так заканчивает Васильев роман “Дом, который построил Дед”. Конец не оптимистичен, как и во многих его произведениях вообще. Однако “Россия все же привержена Добру”, и васильевский читатель - “неисправимый оптимист”: он будет смотреть в Завтра, “не моргая, назло всем врагам, во что бы то ни стало”.

Борис Львович однажды сказал о том, что писателя вообще отличает одно странное свойство - “способность отчетливо помнить то, чего с ним никогда не случилось”. Подчиняясь этому свойству, его книги позволяют собрать на стенах “Ожерелья Всея Руси” всех создателей и ваятелей Города Добра: и немногих героев повести “Летят мои кони”, и всех героев города Прославля из романа “И был вечер, и было утро”, и все многочисленное семейство старинных дворян Олексиных из романов “Были и небыли”, “Дом, который построил Дед”, “Утоли моя печали”, и всех Грешников и

---

<sup>1</sup> Васильев Б. Л. Собрание сочинений в 5-ти томах. М., 1999. Т. 5. С. 429-430.

Страдальцев-романтиков из романа “Вам привет от бабы Леры”, которые хотя и живут в разных временных измерениях, но зато по единому закону Добра, Справедливости, Чести и Благородства. Все поколения жителей Города Добра одинаковы, потому что “личная история каждого человека, генетический код его памяти”; и если памяти истекает срок давности, то “прошлое требует воскрешения. А воскрешение - это скорее легенда, чем реальность, скорее романтика, чем бытовой реализм”.

\*\*\*

В повести “Летят мои кони” есть одно интересное замечание: “Драматург мир видит драматургически, конфликтно и обнаженно, и людей не столько стремится типизировать (что естественно для прозаика), сколько приблизить их к амплуа, подмечая в жизни “роль”, а уж потом “тип”(1, 47). И хотя Васильев говорит о том, что подобного ему никогда не удавалось, все же трудно согласиться с этим утверждением по той причине, что анализируемая повесть “Капля за каплей”(1993) представляет собой синтез “высокого” трагизма драмы и “типичность” “серьезной” прозы.

Все же постараемся определить предмет нашего разговора в этой части.

Если иметь в виду всю прозу Васильева, то становится очевидным, что, несмотря на всю глубину мыслей о трагическом героизме русского человека вообще (что проявляется в “высокой” философии и Достоевского, и Толстого), главным предметом его художественного исследования, фактическим местом действия является российская глубинка, провинция. Темы, идеи, персонажи так же, как и художественные средства в его произведениях, типичны в силу типичности русской провинции в целом. Здесь все

предсказуемо и обусловлено. Города Центральной России ничем особым не отличаются друг от друга, они очень похожи. Поэтому-то на страницах произведений Васильева читатели Смоленска находят свои знакомые и горячо любимые тихие переулки и улицы, дворы и скверы, а читатели Воронежа или Брянска - свои. И деревни тоже типичны, ибо в них живут типичные представители крестьянства России, простые и очень трудолюбивые люди.

Язык героев Васильева также типичен. Он одинаково знаком и понятен, емко и колоритен, народен и поэтичен как у смолян, так и у волжан или костромичей.

Например, героиня его повести “Жила-была Клабочка” могла бы жить и в городе атомщиков Десногорске, и в городе текстильщиков Иваново, и в городе стеклодувов Гусь-Хрустальном. И для жителей этих городов она будет одинаково любима и близка, а проблемы женского одиночества и необустроенности одинаково понятны как для костромичей, так и для муромчан.

Лебеди Егора Полушкина из повести “Не стреляйте в белых лебедей” и “лебедушки” Семена Митрофановича Ковалева из “Самого последнего дня” есть в жизни как егеря из Сафоново, так и в судьбе участкового инспектора из Бологое.

А уменьшительно-ласкательные суффиксы и определенная “слащавость” присущи лексикону Касьяна Нефедовича Глушкова из повести “Вы чье, старичье?”, Антонины Федоровны Иваньиной из повести “Неопалимая купина” и зампреда райисполкома Миловидово из повести “Карнавал” - все это есть в речи и мировосприятии почти каждого жителя Кирова, Ельни или Перми, который не мыслит жизнь без добра и справедливости, который каждым своим поступком говорит о том, что “личная история каждого человека” - “генетический код его памяти”.



Чацкий, Печорин, Онегин - типичные представители “лишних людей” России первой половины XIX века. Герои романов Ремарка, Олдингтона, Дос-Пассоса - типичные представители “потерянного поколения” в зарубежной литературе 20-30-х годов XX столетия. Герои военных повестей Васильева “А зори здесь тихие...”, “В списках не значился”, “Встречный бой”, да и сам их автор - типичные представители “лейтенантской” прозы 60-70-х годов нашего времени; а его Антон Филимонович Скулов из повести “Суд да дело”, дед Багорыч и дед Касьян из “Вы чье, старичье?”, Алевтина Коникина из рассказа “Ветеран” и Катя - “пулеметная дочка” из рассказа “Старая “Олимпия”, контуженный инвалид войны Петр Демьянович Прокудов из рассказа “Великолепная шестерка” - типичные для российского общества 80-90-х годов представители фронтового поколения. Не говоря уже о его правдоискателях-победоносцах Егоре Полушкине и Иване Бурлакове. А все вместе они - герои произведений Васильева - типичные представители многоаспектной и проблематичной прозы последней трети XX века.

Художественные образы, созданные Васильевым, выступают в своем индивидуальном и живом многообразии, существеннейшие черты и свойства их симптоматичны для времени конца XX столетия. И знакомясь с ними, отчетливо постигаешь закономерности общественной жизни и определяемые ею особенности характеров, норм поведения, стремлений и исканий людей. Герои прозы Васильева характерны и художественно обобщенны, показательны для социальной среды народов России, которые живут в названных исторических условиях.

Своих “смоленских” героев Васильев наделяет реальными, характерными чертами, запоминающимися с детства. Ему незачем выдумывать их - они живут в его памяти.

Смоленские страницы - штрихи к портрету эпохи, к портрету прошлого и сегодняшнего времени. Мысли и чувства автора спрессованы в бессмертные афоризмы, которые звучат из уст почти каждого героя Васильева. Образ старого Смоленска отдает “истовостью правды”. В трепетных эпитетах и метафорах, посвященных горячо любимому Смоленску, видится доверчивая откровенность, “сердце на ладони, протянутое людям”.

По меткому замечанию критика С. Алиевой, повестью “Летят мои кони” “Васильев “съел” большую толику хлеба с маслом литературных критиков, историков литературы, во многом предупредив возможные кривотолки, потому что в авторе на редкость уравновешенно взаимодействуют художник и мыслитель, критик и редактор”<sup>1</sup>. Эти слова с полным правом можно отнести и к смоленским страницам других произведений Бориса Васильева.

В 1993 году во втором номере журнала “Край Смоленский” была опубликована довольно искренняя статья смоленского краеведа профессора СГПУ М. Е. Стеклова, в которой он делится впечатлениями, навеянными встречей с писателем во время его приезда в Смоленск в 1992 году. После слов о несправедливых и саркастических статьях критиков В. Кардина, А. Латыниной, во многом ругательных (и можно вспомнить статью Е. Джичоевой “Победа стиля?”, опубликованную в журнале “Подъем”, № 2 за 1987 год), М. Е. Стеклов делится мыслями о порядочности. Он пишет: “Почему так часто и сегодня у опальных людей надолго замолкают

---

<sup>1</sup> Алиева С. И капля сама себя // Литературная Россия, 1982, 13 августа.

телефоны,...а друзья едва узнают при встрече? Значит, порядочность еще не стала нормой для всех. Для Васильева же - это закон общения с людьми, усвоенный от отца... “Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой”. Этой надменности, свойственной многим художникам, нет у Васильева. Он органически ей чужд”<sup>1</sup>.

В повести “Летят мои кони” Б. Л. Васильев вспоминает, как его отец “жил с ощущением, что кругом живут только очень хорошие люди... и никогда не говорил о своих врагах, которых у него, наверное, было много”. Умение видеть в земляках только хорошее объясняется безмерной любовью ко всей России и “малой родине”, которая должна быть у каждого человека “в любую непогоду”. Именно такой любовью насыщены смоленские страницы Бориса Васильева, в чем проявляется его творческое своеобразие.

“История не имеет сослагательного наклонения”, - сказал кто-то из великих. Не любит она и той полуправды, которую мы читали в учебниках литературы и истории минувших времен. История не любит недосказанности не только о настоящем, но и о недавнем прошлом. В повести “Капля на капле” показан город уже в другом измерении - Смоленск 1937 года. Это не тот город Добра, в котором от каждого камня веет историей и в котором живет доктор Янсен и старая учительница, воспитывавшая в своих учениках “граждан Отечества своего”, поучавшая, что “история не

---

<sup>1</sup> *Стеклов М. Е.* Три дня с Борисом Васильевым // Край Смоленский, 1993, № 2. С.5.

позволяет человеку остаться варваром”, что “история разлита во времени и пространстве” и что “воздух Смоленска питает историей каждого человека, питает спокойно и размеренно, “капля за каплей”. Теперь это Город Страха.

Лишь недавно стали всеобщим достоянием истинные события катынской трагедии. И читая повесть, понимаем, *что* привозили в лес под Катынь с “натужным ревом тяжелые машины”, и почему так страшен был для героев этой повести “тяжкий рев машин в одну сторону” и обратное их “скатывание с обычным шумом”, и почему выстрелы слышались еженочно: “Неужели по мишеням в сумерках стреляют?”. Знали правду о польских офицерах и о собственных “врагах народа”, но боялись думать об этом, тем более говорить. Боялись все. Даже смелый на вид интеллигентный учитель истории в “калининских железных очках”. Это он вывел всеобщую формулу вселенского Города Страха: “Когда страха много, он переходит в иное качество. Количество в качество. Он делается заразным, как сыпняк, заражает сперва семьи, потом - общество, целые классы, весь народ... Такого повального страха не переживал ни один народ со времен Адамовых. Геноцид вызывает всеобщий ужас, но всеобщий ужас сплачивает ужаснувшихся, а всеобщий страх разъединяет испугавшихся. Ужас - результат, а страх средство. Да, но с какой все это целью?”<sup>1</sup>.

Риторический вопрос “с какой целью?” проходит через всю повесть “Капля за каплей”. Никто не знает ответа на этот вопрос и никогда не узнает. Лишь “мертвые” эпитеты холода - “глаза, полные страха”, “испуганный взгляд”, “в глазах только страх”, “грустные от страха и ожидания глаза”, “страх, поселенный в человеке, ждет”, и

---

<sup>1</sup> Васильев Б. Л. Капля за каплей // Юность. 1991. № 4. С. 11.

наконец, гиперболизированные сны наяву, аллегорические словоформы льда и “ледовитый океан бесчувствия”, который “поглотит меня навсегда”, - остаются немymi свидетелями пережившего 37-ой и другие годы доброго “города-плота” Смоленска. И мотив одиночества в переполненной людьми стране приводит читателя к какой-то безысходности, к сверхгиперболизации чувства, которое было присуще России эпохи тотального террора и репрессий: “Я - один, опять один. Один в гигантской мертвецкой наедине с гигантским мертвецом,.. это кто-то огромный, необъятный, всемогущий”. И сразу становится невыносимо и за Смоленск своего детства, и за Россию, и “тщетно силишься понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам?”.

\*\*\*

...“Смоленск. Белая пена черемух по ручьям и в оврагах - вниз, к Днепру, с двух сторон: от Соборной горы и с Покровки. И выше всего, над городом, над черемухой заросшими склонами - золотой купол собора. А кругом красное ожерелье крепости. Внизу шум железных дорог, вокзалов, рынка. Крупный бульжник серых улиц и темно-красные кирпичные тротуары. Грохот сотен колес, тихий Днепр, пролом в крепостной стене - наверх, к собору, к центру по Большой Советской. И маленькие, все в скрежете напряжения трамваи - тоже в гору”. Ничего, кажется, нет ужасающего в спокойной и размеренной жизни старого города. Но уже “на Большой Советской, не доходя до собора, на пути в жизнь, не выходя из детства”, автор дает понять, что сирота не только герой-рассказчик, сиротство - приобретенное состояние всей России тридцать седьмого года. “Я вывалился из гнезда в мае тридцать

седьмого”, и вся Большая Советская “была усеяна скорлупой моего детства”.

Символ судьбы-скорлупы мы видим и в описании дома на улице Декабристов (сегодняшняя улица Тухачевского), в котором был вынужден жить главный герой после того, как его мать, почувствовавшая опасность всеобщего террора и репрессий, отправила его из Крыма в Смоленск к родственникам. Его комната-скорлупа как будто из романа Достоевского, “длинная и узкая, всегда полутемная или темная абсолютно: солнце сюда не заглядывает” - здесь словно остановилось время. И комнаты, и дома этого времени типично серы, безжизненны, в них “в июле сыро и прохладно, а во дворах абсолютно нет травы”. Время здесь постоянно, неделимо на лето и зиму, весну и осень, “оно подчиняется только ритмам труда, по которым живет двор”... И еще вонь, “густая, хоть режь”. Вонь от помойки посередине двора, между сараями, около общественных нужников, от огромной, как фонтан, помойки. “Искать ее не приходится: помойка в центре сараев, помойка в центре вселенной”.

Чувство одиночества охватывает читателя, стоит ему только представить, что он вместе с героем катается “с крутых склонов Чертова Рва за башней Веселухой”, потому что на дне этого рва покойно лежит русский интеллигент, офицер, отец одной из героинь повести Елены Алексеевны, расстрелянный новой властью. Усиливает это чувство одиночества и то, что “у нас, русских, лед - всегда снаружи, как панцирь, а внутри теплая душа, и мы страдаем; расстреливаем и страдаем”. Вторят одиночеству и опавшие листья в Лопатинском саду и на Блонье. И поэтому у героя на душе по-осеннему “слякотно, сыро и тоскливо до воя”.

Предвестником будущей трагедии судеб героев становится куртка из тонкого офицерского сукна, медленно наливавшаяся

тяжестью, которая “давит, гнет, душит”, куртка с убитого офицера. Ее обладателем был “враг советской власти” Лесной, косвенно застреленный своей двоюродной сестрой, романтической революционеркой. Эта куртка душит всех, она символ и памяти, и мести, и страха одновременно. И когда тетю Клаву приходят арестовывать, она все понимает и смотрит на все и всех “измученными постоянным напряжением глазами”.

Трагедия города Добра становится также трагедией Катынского леса. Снова одиночество, снова скорлупа.

Уже к четвертой главе становится очевидным, что смерть завладеет всем существом как аллегорического рассказчика, так и всех спутников по судьбе, к несчастью оказавшихся в Катынском лесу, близ Гнездова. 1937 год уже давно был задан Историей для искупления грехов. Эта историческая заданность лишает героев как прошлого, так и настоящего. И они гибнут. “Все мы там, под Катынью, - бывшие”.

И Елена Алексеевна, и бывшая жена расстрелянного красного командира Зина, и бывшая воровка Стайка, и бывшая сотрудница смоленской Чека Хавка, да и сам хранитель и защитник “бывших”, “единоличник – лошажник”, бывший ликвидатор Лесного Семен Иванович Поползнев - обречены лежать безмолвно и безымянно в общей яме катынского леса: “Падают в могилу очередные тела; четырежды дружно вздрагивают мертвецы в братской могиле”. Ничего не спасает их от гибели. И какими бы пронзительно-умоляющими и просящими о пощаде ни были их взгляды, - в глазах “тех” не было ничего, даже пустоты; их взгляды были “нечеловечески пусты”.

“Скорлупа треснула, но цыпленок еще не вылез из нее. Он еще барахтается, силясь скинуть с себя последние заслоны и шагнуть в

иную жизнь”. Иная жизнь - любовь. И хотя поздно испытавшие ее герои гибнут, верится, что добрые и теплые капли жителей старого города Добра растопят “ледовитый океан страха” и проточат глыбы “каменных, лишенных движения”, бронзово-безддушных памятников тоталитарного прошлого “страны, вернувшейся с войны”.

Эта повесть никак не “книга со счастливым концом”. Финал, как, впрочем, и вся сюжетно-композиционная структура повести, включает в себя обобщающие философские выводы: “Россия писала стихи. Прекрасные, удивительные стихи. А ее швырнули в грязь и топчут сапогами. Выдавливают ее из нас. Капля за каплей”.

...Но почему порой так трудно бывает сойти с “катынской Голгофы”? Думать об этом и жить с таким грузом истории, видимо, придется еще не одному поколению.